

ЯСМИНА ХАДРА



ЭТО РОМАН
О НЕСБЫВШЕЙСЯ
ЛЮБВИ,
ПРЕКРАСНОЙ,
НО ЗАПРЕТНОЙ...

Independent

ЭТО как день посреди НОЧИ

Лучшая книга года
по версии журнала *Lire*.
Удостоена премий:
Prix Roman France Télévisions
Prix des Lecteurs corses

ПЕРЕВЕДЕНО БОЛЕЕ ЧЕМ НА 40 ЯЗЫКОВ МИРА!

Мировая сенсация

Ясмина Хадра

Это как день посреди ночи

«Центрполиграф»

2008

УДК 821.411.21
ББК 84(6Алж)

Хадра Я.

Это как день посреди ночи / Я. Хадра — «Центрполиграф»,
2008 — (Мировая сенсация)

ISBN 978-5-227-06724-1

Дни и ночи, свет и тьма, горе и радость – словом, жизнь как она есть. Жизнь как воспоминание длиною в несколько десятилетий – так можно охарактеризовать этот сложный, психологический, поэтический роман о судьбе алжирца Юнеса. Отец, желая избавить сына от нищеты, отдает девятилетнего Юнеса богатому брату-фармацевту, и мальчик попадает в мир белых европейцев. В Алжире идет война за независимость. Герою предстоят многие перемены и испытания. Беззаботность и веселье молодости сменяются разочарованием, изменами, разрывом дружеских связей. Но единственным неизменным остается любовь Юнеса к француженке Эмили, которая после освобождения Алжира от колонизаторов вынуждена уехать во Францию. И он, и она созданы друг для друга, но судьба рассудила по-своему. Да и возможно ли было для них счастье?..

УДК 821.411.21

ББК 84(6Алж)

ISBN 978-5-227-06724-1

© Хадра Я., 2008

© Центрполиграф, 2008

Содержание

Часть первая	6
Глава 1	6
Глава 2	16
Глава 3	23
Глава 4	30
Глава 5	36
Глава 6	45
Глава 7	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Ясмина Хадра

Это как день посреди ночи

Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав.

Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя.

Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

YASMINA KHADRA

Ce Que le Journ Doit `a la Nuit

roman

Copyright © E'ditions Julliard, Paris, 2008

© Перевод и издание на русском языке, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2016

©Художественное оформление, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2016

В Оране, как и везде, в отсутствие времени и склонности к размышлениям, люди, сами того не сознавая, вынуждены любить друг друга.

Альбер Камю. Чума

Я люблю Алжир, потому что прочувствовал его всем сердцем.
Габриэль Гарсия Маркес

Часть первая Женан-Жато

Глава 1

Отец был счастлив. Я не думал, что он на это способен. Временами его лицо, когда на нем не отражались волнения и тревоги, немало меня беспокоило.

Сидя на корточках на куче щебня и обхватив руками колени, он смотрел, как ветер обнимает, приглаживает и яростно колышет обильную ниву. Пшеничные поля волновались подобно тысячегривым лошадям, скачущим галопом по равнине. Зрелище напоминало морскую гладь, беременную зыбью. Отец улыбался. Я совсем не помню его улыбающимся – он был не из тех, кто выказывал свое удовлетворение, да и испытывал ли он его на самом деле?.. Закаленный жизненными трудностями и испытаниями, с вечно затравленным взглядом, он вел жизнь, являвшую собой нескончаемую череду неудач, и как огня боялся превратностей судьбы, уготованных завтрашним днем, вероломным и неуловимым.

Друзей у него, насколько я знал, не было.

Мы жили замкнуто на своем клочке земли, подобно предоставленным самим себе призракам, в поистине космической тишине людей, которым особо нечего сказать: мать, вечно стоявшая над чаном в тени нашей лачуги, машинально помешивая в нем бульон из корнеплодов, с сомнительным вкусом и запахом; младше меня тремя годами сестра Зара, забытая всеми в углу хижины и настолько тихая, что ее присутствие порой совершенно не ощущалось, и я, тщедушный, нелюдимый мальчишка, едва достигший поры расцвета, но тут же начавший увядать, который нес свои десять лет как тяжелое бремя.

Это была не жизнь – так, существование, не более того.

Если ты просыпался утром, это было сродни чуду, а ночью, когда все ложились спать, каждый спрашивал себя, не лучше ли закрыть глаза навеки, потому как все уже позади и жизнь не стоит того, чтобы задерживаться дольше в этом подлунном мире. Дни отчаянно напоминали друг друга: ничего никогда не приносили и лишь избавляли нас от редких иллюзий, маячивших перед носом, наподобие морковки, которой машут перед глазами осла, заставляя его двигаться вперед.

Тогда, в 30-х годах, эпидемии и нужда косили людей и скот с какой-то невероятной, маниакальной извращенностью, обрекая выживших либо на массовый исход, либо на нищету и бродяжничество. Наши немногочисленные родственники больше не подавали признаков жизни. Что же до жалких доходяг, порой маячивших на горизонте, мы были уверены: их унесет первый же порыв ветра, и ухабистая тропинка, ведущая к нашей лачуге, постепенно стала зарастать.

Средства от этого у отца не было.

Он любил в одиночку пахать, с такой силой надавливая на плуг, что губы его белели, а лицо покрывалось потом. Порой он казался мне каким-то божеством, сотворяющим свой мир, и тогда я наблюдал за ним долгими часами, очарованный его силой и рвением.

Когда мать просила меня отнести ему еды, мне не было никакого интереса тянуть. Свой скромный обед отец съедал без промедления, стремясь как можно быстрее вернуться к работе. Мне хотелось, чтобы он молвил мне ласковое слово и уделил хотя бы капельку внимания, но взор его неизменно был обращен на пашню. Здесь, в самом центре этой пшеничного цвета вселенной, он был в своей стихии. Ничто и никто, даже самые дорогие его сердцу люди, не могли его от нее отвлечь.

Когда вечером, на закате, он возвращался в нашу конуру, блеск в его глазах тускнел. Отец превращался в нечто совершенно другое, в некое существо, неинтересное и лишенное всякой притягательности, и даже почти меня разочаровывал.

Но вот уже несколько недель он пребывал на седьмом небе от счастья. Урожай превосходил все ожидания и обещал быть просто великолепным... По уши в долгах, отец заложил землю своих предков и знал, что ведет последний бой, что в обойме остался последний патрон. Он без устали вкалывал за десятерых. Безоблачное небо вселяло в него страх, а каждое облачко, даже небольшое, придавало сил и энергии. Раньше мне никогда еще не доводилось видеть, чтобы он так истово молился и с таким упорством тратил свои силы. А когда пришло лето и хлеб покрыл поле искрящимися золотыми колосьями, отец сел на груды камней и больше не двигался. Вжав в плечи голову с нахлобученной на нее шляпой из алжирского ковыля, он большую часть дня проводил любуясь урожаем, который после стольких лет неблагодарного труда и голода нес в себе, наконец, надежду хоть на какое-то прояснение.

Наступало время страды. И чем ближе она была, тем больше отца охватывало беспокойство. В мечтах он уже всю косил колосья и связывал их в снопы, сотнями громоздил самые разные планы и убирал в амбар надежды, совершенно не зная, что с ними делать.

Неделю назад он усадил меня рядом с собой на повозку, и мы отправились в деревню, расположенную в километре от нас, по ту сторону холма. Обычно он никуда меня не брал. Возможно, ему показалось, что жизнь как-то налаживается и нам нужно пересмотреть привычки, приобрести новые навыки и научиться по-другому думать. Всю дорогу он напевал какой-то бедуинский мотив. Тогда я впервые в жизни услышал, чтобы он пел. Его голос, разлетавшийся по сторонам, настолько фальшивил, что какая-нибудь кляча помчалась бы от него сломя голову, но для меня это был праздник, и никакой баритон ему в подметки не годился. Но вдруг отец подобрался, удивившись, что зашел так далеко, и даже устыдился того спектакля, который он устроил перед отпрыском.

Деревня не внушала никакого доверия и представляла собой забытую богом дыру, скорбную и унылую до чертиков. Стены ее глинобитных домов растрескались под тяжким гнетом нужды, а потерянные улочки не знали, как скрыть свое уродство. Редкие худосочные деревья, листья которых жадно пожирала козы, высились в своей жертвенности, словно виселицы. Под ними на корточках били баклуши какие-то трутни, по виду явно не благоденствующие и больше похожие на отслужившие свое пугала, которые бросили здесь в ожидании очередного урагана, развеявшего бы их по ветру.

Отец остановил повозку у отвратительного вида лавчонки, вокруг которой томились от скуки босоногие ребятишки. Вместо традиционных алжирских гандура¹ на них были перешитые на скорую руку джутовые мешки. Коротко стриженные, покрытые гнойными струпьями головы придавали их внешности что-то неотвратимое и фатальное, они будто несли на себе печать проклятия. Дети обступили нас и стали разглядывать с любопытством стайки лисят, на территорию которых посягнул чужак. Отец замахнулся, разогнал их и втолкнул меня в бакалейную лавку, где среди пустых полок дремал мужчина. Он даже не потрудился встать, чтобы нас поприветствовать.

– Мне понадобятся люди и инвентарь, чтобы собрать урожай, – обратился к нему отец.

– И все? – спросил в ответ бакалейщик, зевая от скуки. – Могу предложить сахар, соль, масло и крупу.

– Это подождет. Так я могу на тебя рассчитывать?

– И когда тебе будут нужны работники со всем барахлом?

– Как насчет следующей пятницы?

– Ты хозяин, ты и решай. Свистни, они и явятся.

¹ Гандура – шелковая или шерстяная туника, которую алжирские арабы носят под бурнусом. (Здесь и далее примеч. пер.)

– Тогда пусть будет следующая пятница.

– Договорились, – проворчал бакалейщик, вновь надвинув тюрбан на глаза, – рад был узнать, что ты не потерял выращенный хлеб.

– Перво-наперво я не потерял душу, – заметил отец на прощание.

– А вот для этого, мой старый друг, ее сначала надо иметь.

Отец, казалось, уловил в словах бакалейщика ядовитый намек и, переступая порог лавки, вздрогнул. Потом почесал затылок, запрыгнул на повозку и поехал домой. По его чувствительной натуре был нанесен сокрушительный удар. Утро стояло ясное, но его взор помрачнел. Должно быть, он усмотрел в реплике лавочника дурное предзнаменование. С ним так было всегда: когда кто-то говорил ему хоть слово наперекор, он тут же начинал готовиться к худшему, а стоило ему похвастаться своим усердием в работе, пугался, как бы его кто-нибудь не сглазил. Я был уверен, что в глубине души отец очень сожалел, что позволил себе праздновать победу, когда ничего еще не было убрано.

По дороге домой он замкнулся в себе, как змея, и без конца стегал кнутом мула, в каждом его жесте угадывался едва сдерживаемый гнев.

В ожидании пятницы отец извлек на свет божий заржавевшие серпы, косы, державшиеся на честном слове, и прочую утварь, чтобы привести ее в порядок. Я вместе с собакой держался в стороне в ожидании указаний, которые позволили бы мне принести хоть какую-то пользу. Отцу никто не был нужен, он точно знал, что будет делать и где возьмет для этого все необходимое.

А ночью, без всяких предупреждений, на нас обрушилась беда. Пес выл не переставая... Я даже подумал, что солнце сорвалось с неба и вот-вот упадет на землю. Время, должно быть, близилось к трем часам ночи, но в нашей лачуге было светло как днем. Мать ошеломленно застыла на пороге, схватившись руками за голову. На стенах вокруг меня плясали многократно повторяемые отблески бушующих снаружи сполохов. Сестра забилась в свой угол и сидела как факир на циновке, засунув пальцы в рот и глядя на происходящее пустыми глазами.

Я бросился во двор и увидел столб огня, пожирающего наши поля; он поднимался до самого небосвода, где не было ни единой звездочки, чтобы приглядеть за выращенным нами хлебом.

Отец, мокрый от пота, с обнаженным, покрытым черными полосами торсом, сошел с ума. Он опускал свое жалкое ведро в водопойный желоб, мчался к горевшим колосьям, исчезал в огненном мареве, вновь бежал за водой и возвращался в этот ад. Отказываясь признать, что ничего сделать уже нельзя, что никакие молитвы и чудеса не в состоянии помешать его мечтам развеяться как дым, он выглядел смешно, но даже не отдавал себе в этом отчета. Мать прекрасно видела, что все погибло. Она смотрела, как муж лезет из кожи вон, и боялась, что в очередной раз он навсегда скроется за огненным валом. Отец был способен обнять свои колосья, схватить их в охапку и сгореть вместе с ними, потому что только в поле находился в своей стихии!

На рассвете он все еще продолжал кропить водой клубы дыма, вздымавшиеся над сгоревшей дотла пашней. От поля не осталось ровным счетом ничего, но он упрямо не желал этого признавать. Назло судьбе.

Это было несправедливо.

За три дня до страды.

В двух шагах до спасения.

В миллиметре от искупления.

Ближе к полудню отец наконец был вынужден признать очевидное. Все так же держа в руке ведро, он в конце концов осмелился поднять глаза и оценить масштаб катастрофы. Ноги его задрожали, глаза налились кровью, лицо исказилось. Он пошатнулся, как пьяный, упал на колени, рухнул ничком на землю. И мы, не веря своим глазам, увидели, как он сделал то, чего,

как считается, ни один мужчина никогда не должен делать на людях – заплакал... горько и навзрыд.

В тот момент я понял, что наши святые покровители отреклись от нас до самого Страшного суда и что теперь несчастья станут нашим неизменным уделом.

Время для нас остановилось. Конечно же дни по-прежнему улепетывали под напором ночи, вечера сменялись утренней зорькой, в небе все так же кружили хищные птицы, но в том, что касается нас, все сущее, казалось, себя уже исчерпало. Открывалась новая страница, но мы на ней отсутствовали. Отец без конца мерил шагами уничтоженные поля, бродил от заката до рассвета среди теней и пепла. Его вполне можно было принять за обреченное прозябать в руинах привидение. Мать смотрела на него через дыру в стене, служившую нам окном. Каждый раз, когда он хлопал себя по бедрам или хлестал по щекам тыльной стороной ладоней, она молилась и, будучи уверенной, что муж потерял рассудок, по очереди зывала к именам местных мусульманских отшельников.

Неделю спустя к нам явился какой-то человек. В пышном костюме, с тщательно подстриженной бородкой и увешанной медалями грудью, он был похож на султана. Человек этот оказался каидом², его сопровождала личная стража. Не выходя из коляски, он подозвал отца и велел приложить пальцы, чтобы оставить отпечатки на документе, который торопливо выдернул из портфеля француз – бледный, тщедушный, с ног до головы облаченный во все черное. Отец не заставил себя просить дважды, приложил пальцы сначала к пропитанной чернилами губке, а затем к бумагам. Как только документы были таким образом подписаны, каид уехал. Отец, не в состоянии пошевелиться, стоял посреди двора, глядя то на испачканные чернилами руки, то на коляску, поднимавшуюся на вершину холма. Ни я, ни мать не могли набраться храбрости, чтобы к нему подойти.

На следующий день мать собрала все наши жалкие пожитки и свалила их в повозку...

Все было кончено.

Я до конца жизни буду помнить тот день, когда отец навсегда оставил позади привычный для него мир. День мучительный, с распятым над горами солнцем и ускользящим вдаль горизонтом. Тем временем наступил полдень, и мне казалось, что я растворяюсь в какой-то полуяви, где застыло движение, где стихли звуки, где вселенная отступила, чтобы надежнее изолировать нас в свалившемся на наши головы несчастье.

Отец держал поводья, низко понурив голову, упорно глядя в дощатый настил повозки, давая мулу возможность везти нас куда глаза глядят. Мать скрючилась в углу, накрылась покрывалом и стала почти незаметной среди узлов. Что же до сестренки, то она по-прежнему сосала пальцы и смотрела на мир отсутствующим взглядом. Родители даже не отдавали себе отчета, что их дочь перестала есть, что той ночью, когда ад наслал на наши поля своего преданного слугу, в ее головке что-то сломалось.

Наш пес бежал в отдалении, стараясь обращать на себя поменьше внимания. Время от времени он взбирался на пригорок и садился, проверяя, хватит ли ему стойкости спокойно наблюдать за тем, как мы скроемся из виду. Но вскоре вскакивал, припадал мордой к земле, шел по следу и догонял нас. Подбегая к повозке ближе, он замедлял свой аллюр, сходил с дороги и вновь садился, растерянный и несчастный. Животное понимало, что там, куда мы направлялись, ему места уже не будет. Отец ясно дал ему это понять, запустив в него камнем, когда выезжал со двора.

Я очень любил своего пса. Он был моим единственным другом, только ему я мог поведать свои мысли и чувства и поэтому спрашивал себя, что станет с ним и со мной теперь, когда наши пути разошлись.

² Каид – правитель округа в Северной Африке.

Так мы проехали много километров, которым, казалось, не было ни конца, ни края, не встретив по пути ни единой живой души. Злой рок будто истребил все население этого края, решив пощадить только нас... Перед нами змеилась дорога, извилистая, убогая и мрачная, точь-в-точь как наша жизненная стезя.

Ближе к вечеру мы, измученные солнцем, наконец увидели вдали черную точку. Отец погнал мула туда. Это был шатер торговца дынями, шаткое сооружение в виде натянутого на колья джутового полотна. Он стоял посреди пустыни, будто вынырнув из бредового, порожденного галлюцинациями сна. Отец велел матери подождать у скалы. У нас, когда встречаются мужчины, женщинам положено помалкивать, держась в стороне; для мужа нет большего кощунства, чем видеть, что на его жену смотрит кто-то другой. Мать повиновалась, взяла Зару на руки, ушла и села на корточки в указанном ей месте.

Торговец был маленький, высохший, добродушный человечиска с глазами хорька, глубоко посаженными на лице, изрытом черноватыми угрями. На нем красовался рваный арабский халат, а на ногах – стоптанные, провонявшие башмаки, из которых торчали бесформенные большие пальцы. Истертый до дыр жилет был не в состоянии скрыть его крайнюю худобу. Спрятавшись в тени своего наскоро сколоченного шалаша, он не сводил с нас глаз, сжимая в руке дубинку. Увидев, что мы не воры, он выпустил оружие, сделал шаг и вышел на свет.

– Люди злы, Иса, – бросил он отцу вместо приветствия, – это в их характере. И обижаться на них за это совершенно бесполезно.

Отец подъехал ближе, остановился, слез и повернул рукоятку, поставив повозку на тормоз. Он прекрасно понял, кого имел в виду торговец, но ничего не ответил.

Тот с возмущенным видом хлопнул руками.

– Увидев ночью вдали зарево, я понял, что какой-то бедолага возвращается в ад, но даже не предполагал, что это ты.

– На все воля Божья, – произнес отец.

– Нет. И ты хорошо это знаешь. Там, где свирепствуют люди, имя Господа поругано. Несправедливо скопом приписывать ему деяния, которые возможны единственно стараниями человека. Иса, друг мой, кто заимел на тебя такой зуб, что сжег урожай?

– Господь сам решает, чем нас наказать, – ответил отец.

Торговец пожал плечами:

– Люди придумали Бога, только чтобы развлекать своих демонов.

Когда отец ступил с повозки на землю, пола его халата зацепилась за край сиденья, и это сразу же показалось ему дурным предзнаменованием. Лицо его побагровело от едва сдерживаемого гнева.

– В Оран поедешь? – спросил его торговец.

– Кто тебе сказал?

– Когда человек все теряет, ему больше некуда ехать, кроме как в город... Будь осторожен, Иса, это место не для таких, как мы. Оран кишмя кишит мерзавцами, не знающими ни стыда ни совести, он опаснее кобр и коварнее лукавого.

– Зачем ты несешь мне всю эту чушь? – спросил его вконец измученный отец.

– Потому что ты сам не знаешь, что делаешь. Города прокляты. Божественного промысла, посылавшего нашим предкам удачу, там нет. Те, кто отваживается туда уехать, обратно уже не возвращаются.

Отец поднял руку, призывая торговца оставить при себе свои разглагольствования.

– Купи у меня повозку. Колеса и настил в ней крепкие, мулу нет еще и четырех лет. Какую цену назначишь, такая и будет.

Торговец бросил взгляд на упряжь.

– Боюсь, Иса, что не могу много тебе предложить. Только не думай, что я хочу воспользоваться ситуацией. Здесь проезжает мало народу, и мои дыни частенько так и остаются нераспроданными.

– Мне хватит того, что ты мне дашь.

– По правде говоря, мне не нужны ни мул, ни повозка... У меня в ящике есть немного мелочи, и я с удовольствием поделюсь ею с тобой. Раньше ты нередко меня выручал. Что же до твоей арбы, то можешь мне ее оставить. Рано или поздно я найду на нее покупателя. За деньгами можешь приехать в любое время, они будут у меня в целости и сохранности.

Над предложением торговца отец даже не раздумывал, у него не было выбора. В знак согласия он протянул руку:

– Ты хороший человек, Милу, и меня не обманешь, я знаю.

– Обманывают, Иса, всегда в ущерб себе.

Отец вручил мне два тюка, взвалил на свои плечи остальной скарб, положил в карман несколько монет, которые ему дал торговец, и зашагал к матери, даже не оглянувшись на оставшуюся стоящую повозку.

Мы пошли дальше, не чувствуя под собой ног. Солнце нас буквально испепеляло, его лучи, бившие прямо в лицо, отражаясь от высохшей, трагически пустынной земли, резали глаза. Мать, похожая в своем саване на мумифицированное привидение, тащилась сзади, останавливаясь только для того, чтобы взять на другую руку сестренку. Отец не обращал на нее внимания. Он шагал прямо, не снижая темпа, то и дело заставляя нас его догонять. О том, чтобы я или мать попросили его идти помедленнее, не могло быть и речи. Ноги мои были ободраны сандалиями, в горле пылал огонь, но я все же держался. Чтобы обмануть усталость и голод, сосредоточился на разгоряченной спине родителя, на том, как он нес свою ношу, на его размеренной, тяжелой поступи – когда я смотрел на нее, мне казалось, что он разгоняет пинками злых духов. Отец ни разу не обернулся, чтобы посмотреть, идем ли мы за ним следом.

Когда мы вышли на «христианский путь», то есть на асфальтированное шоссе, солнце уже клонилось к закату. Отец решил расположиться под одиноко стоявшим оливковым деревом за холмом, подальше от посторонних взглядов, и стал вырубать росший вокруг него колючий кустарник, чтобы удобнее устроиться. После чего убедился, что с того места, где мы находились, просматривалась вся дорога, и велел распаковывать узлы. Мать положила уснувшую Зару под деревом, укрыла ее узкой тряпкой, потом вытащила из корзины кастрюлю с деревянной ложкой.

– Костер разводить не будем, – молвил отец, – поедим вяленого мяса.

– Кончилось. Но у меня осталось несколько сырых яиц.

– Говорю тебе, костер разводить не будем. Я не хочу, чтобы кто-то узнал, что мы здесь...

Придется довольствоваться помидорами и луком.

Дневной зной спал, листья на оливковом дереве зашевелились от дуновения вечернего ветерка. Было слышно, как в высохшей траве суетятся ящерицы. Солнце разбитым яйцом разливалось над горизонтом лучи.

Отец растянулся на камне, выставив в небо колено и опустив на глаза тюрбан. Он так ничего и не съел и будто за что-то на нас сердился.

Перед самым наступлением ночи мы увидели на вершине холма человека, энергично махавшего нам руками. Поскольку с нами была мать, подойти к нам он не осмелился – ему было стыдно. Отец послал меня спросить, что ему надо. Оказалось, что это одетый в лохмотья пастух с изможденным лицом и шершавыми руками. Он предложил нам кров, но отец отказался от его гостеприимства. Пастух продолжал настаивать – соседи никогда не простили бы ему, если бы он позволил ночевать на улице семье, оказавшейся неподалеку от его хижины. Отец ответил категоричным отказом. «Ненавижу быть должником», – пробурчал он. Пастуха это обидело.

Бешено притоптывая по земле ногой и сердито ворча, он вернулся к стаду своих худосочных овец.

Ночь мы провели под открытым небом: мать и Зара у подножия оливкового дерева, я под своей гандурой, отец на часах – на большом валуне с зажатым между ног кривым садовым ножом.

Утром, когда я проснулся, отец совершенно преобразился. Он побрился, умылся в источнике и надел чистую одежду: жилет поверх выцветшей рубашки, турецкие шаровары со стянутыми внизу гармошкой штанинами, которых я раньше на нем никогда не видел, и стоптанные кожаные башмаки, давно потерявшие блеск, но теперь начищенные.

Автобус подошел в тот самый момент, когда солнце только-только показалось над горизонтом. Отец свалил пожитки на крышу, а нас усадил на задней скамье. Автобус я видел впервые в жизни. Когда он тронулся с места, я схватился за сиденье, обезумев и восхитившись одновременно. На скамьях дремало несколько пассажиров, по большей части христиан, облаченных в невзрачные наряды. Пейзаж, разворачивавшийся за окнами, меня не привлекал. На меня произвел неизгладимое впечатление сидевший впереди водитель. Я не видел перед собой ничего, кроме его спины, широкой, как крепостной вал, и могучих рук, с редкой властью крутивших руль. Справа от меня равномерно раскачивался в такт ухабам беззубый старик. У ног его стояла ветхая корзина. На каждом повороте он засовывал в нее руку и проверял, все ли на месте.

В животе у меня все переворачивалось, голова, казалось, раздулась, как воздушный шар, невыносимый запах горючего и крутые повороты наконец меня сморили, и я задремал.

Автобус остановился на обсаженной деревьями площади, напротив большого здания из красного кирпича. Пассажиры ринулись за своим багажом. В спешке некоторые наступали мне на ноги, но я этого даже не замечал. То, что я видел, настолько меня изумило, что я даже забыл помочь отцу забрать наши пожитки.

Город!

Я и не подозревал, что на свете могут существовать населенные пункты, раскинувшие свои улицы, подобно щупальцам спрута. Это было безумие. В какой-то момент я даже спросил себя, не сыграла ли со мной злую шутку дурнота, охватившая меня в автобусе. За площадью, насколько хватало глаз, тянулись ряды жавшихся друг к другу домов с высокими окнами и утопавшими в цветах балконами. Дороги покрывал асфальт, по бокам их пролегли тротуары. Я никак не мог прийти в себя, мне даже не удавалось подобрать название предметам и явлениям, которые бросались в глаза, будто сполохи молнии. Со всех сторон возвышались редкой красоты жилища, прятавшиеся за изящными, величественными, выкрашенными черной краской решетчатыми оградами. На верандах, вокруг белых столов со стоявшими на них графинами и высокими стаканами с оранжадом, блаженствовали семьи; в садах резвились румяные ребята с золотистыми кудряшками, их хрустальный смех брызгал под сенью листвы, подобно фонтанчикам. От этих пышных усадеб исходили душевный покой и нега, раньше казавшиеся мне совершенно невозможными, они были полной противоположностью затхлости, отравлявшей наше захолустье, где огороды загибались в пыли, а загоны для скота выглядели лучше убогих лачуг, в которых мы жили.

Мы оказались на другой планете.

Я семенил за отцом, ошарашенно глаза на островки зелени, разделенные невысокими стенами из резного камня или коваными решетками, на широкие, залитые солнцем проспекты, на уличные фонари, в своем чопорном величии напоминавшие сияющих часовых. А автомобили!.. Я насчитал их добрую дюжину. Они появлялись неведомо откуда, с треском проносились мимо, подобно падающим звездам, и исчезали за углом, не давая времени загадать желание.

– Что это за место? – спросил я отца.

– Помолчи, шагай лучше, – осадил он меня, – да смотри под ноги, если не хочешь свалиться в какую-нибудь дыру.

То был Оран.

Отец шел прямо, уверенной поступью, ничуть не страшась ровных, как стрела, улиц, без конца разветвлявшихся перед нами. Все они были настолько одинаковы, что мне казалось, будто мы не движемся вперед, а топчемся на месте. Странное дело, но чачванов³ женщины здесь не носили и ходили повсюду с открытыми лицами. Причудливые прически венчали головы старух, те же, кто помоложе, разгуливали полуобнаженными, с развевающимися на ветру гривами, ничуть не смущаясь мужского присутствия.

Еще немного – и суматоха осталась позади. Мы зашагали по умиротворенным, тенистым кварталам, погруженным в тишину, едва нарушаемую шумом проезжающей мимо коляски или же закрывающегося железного ставня. У дверей своих домов благодетельствовали старики европейской наружности с багровыми лицами. На них были просторные шорты, распахнутые на брюхах рубахи, затылки прикрывали широкополые шляпы. Изнывая от жары, они собирались, чтобы опрокинуть по стаканчику анисовки, который ставили прямо на землю, и поспорить об очередной ерунде, машинально обмахиваясь веерами, дабы хоть немного освежиться. Отец прошел мимо них, не только не поздоровавшись, но и не взглянув в их сторону. Он старался вести себя так, будто их нет, но его поступь вдруг стала не такой пружинистой, как раньше.

Мы вышли на проспект, где зеваки пялились в витрины магазинов. Отец пропустил проехавший мимо нас трамвай и только после этого перешел на другую сторону дороги. Затем сказал матери, где она должна его ждать, оставил ей на хранение все наши пожитки, а мне велел идти за ним в аптеку, располагавшуюся в конце улицы. Сначала он заглянул через витрину внутрь, чтобы убедиться, не ошибся ли адресом, затем поправил тюрбан, одернул жилет и переступил порог. За прилавком что-то торопливо писал в толстой книге высокий стройный мужчина с красной феской на седой голове. У него были синие глаза и умное лицо. Кайма усов подчеркивала разрез, служивший ему ртом. Увидев вошедшего в аптеку отца, он нахмурился, затем поднял доску сбоку от себя и вышел из-за прилавка нас поприветствовать.

Мужчины заключили друг друга в объятия.

Поцеловались они поспешно, но ни один из них долго не хотел выпускать другого.

– Это мой племянник? – спросил незнакомец, подходя ко мне.

– Да, – ответил отец.

– Боже мой! Как же он красив!

Это был мой дядя. Раньше я о нем ничего не слышал. Отец никогда не говорил о своей семье. Впрочем, о других тоже. Он вообще редко к нам обращался.

Дядя присел на корточки и прижал меня к груди.

– Как же ты чертовски молод, Иса.

Отец ничего не добавил к этому замечанию. По его шевелившимся губам я понял, что он читает про себя строки из Корана, чтобы отвратить сглаз.

Дядя встал и посмотрел на отца. Немного помолчав, он вернулся за прилавок и продолжил разглядывать его уже оттуда.

– Вытащить тебя из твоей берлоги – дело непростое. Полагаю, у вас случилось что-то серьезное. Ты уже сто лет не навещал старшего брата.

Ходить вокруг да около отец не стал. Он разом рассказал обо всем, что произошло в нашей деревне, о сгоревшем дотла урожае, о визите кайда... Дядя слушал его внимательно, не перебивая. Я видел, что его руки то хватались за прилавок, то сжимались в кулаки. Когда отец закончил, он сбил феску на затылок и вытер платком лицо. Дядя был удручен, но держался, как мог.

³ Чачван – прямоугольная густая сетка, закрывающая лицо женщины.

– Вместо того чтобы закладывать землю, Иса, мог бы взять денег займы у меня. Ты прекрасно знаешь, что скрывается за подобной отсрочкой. Многие наши заглотили крючок, и не мне тебе говорить, чем это для них закончилось. И как ты после этого позволил так себя одурачить?

В словах дяди не было упрека, одно лишь горькое разочарование.

– Что сделано, то сделано, – ответил отец за неимением аргументов, – так решил Бог.

– Нет, это не он приказал сжечь твои поля... Бог не имеет ничего общего с человеческой злобой. Как и дьявол.

Отец поднял руку, давая понять, что больше не желает об этом говорить.

– Я хочу обосноваться здесь, в городе, – сказал он, – жена с дочерью ждут меня на углу улицы.

– Пойдемте сначала ко мне. Отдохнете несколько дней, а я тем временем подумаю, что для вас можно сделать...

– Нет, – отрезал отец, – если человеку предстоит трудный путь, мешкать нельзя. Мне нужна крыша над головой, причем сегодня же.

Настаивать дядя не стал. Он слишком хорошо знал, какой несговорчивый у него младший брат, и даже не надеялся его вразумить. Мы отправились на другой конец Орана... Ничто так не шокирует, как резкая смена декораций в городе. Нам достаточно было пройти один-единственный квартал, чтобы попасть из дня в ночь и перейти от жизни к смерти. Даже сегодня я против воли каждый раз содрогаюсь, воскрешая в памяти это страшное испытание.

Предместье, где мы остановились, разом разрушило чары, околдовавшие меня несколько часов назад. Мы по-прежнему оставались в Ороне, но теперь его декор предстал перед нами с изнанки. Прекрасные дома и утопающие в цветах проспекты сменились нескончаемым хаосом, ошетилившимся грязными лачугами, тошнотворными притонами, шатрами кочевников, продуваемыми всеми ветрами и известными как «хаймы», и загонами для скота.

– Вот и Женан-Жато, – сказал дядя, – сегодня базарный день. – Он немного помолчал и, чтобы нас успокоить, добавил: – Обычно здесь тише.

Женан-Жато – дикое нагромождение кустарника и трущоб, кишашее скрипучими повозками, попрошайками, зазывалами, погонщиками, воюющими со своими ослами, шарлатанами и детворой в жалких обносках; знойные дебри цвета охры, задыхающиеся от пыли и смрада, злокачественной опухолью прилепившиеся к городской крепостной стене. Нищета в этом анклав, которому и названия-то не сыщешь, царила запредельная. Что же до людей, каждый из которых представлял собой ходячее бедствие, то они буквально растворялись в собственной тени. Они казались грешниками, без уведомления и суда изгнанными из ада, заочно приговоренными прозябать на этой каторге. Сами по себе они были живым воплощением напрасных стараний земли.

Дядя познакомил нас с маленьким, тщедушным человечком с бегающими глазками и короткой шеей, комиссионером по имени Блисс, который был чем-то вроде стервятника, подстерегающего нужду, из которой можно извлечь барыш. В те времена хищников сродни ему было не счесть; из-за волн бежавших от дизентерии переселенцев, накрывавших собой города, они были неизбежны, как сама судьба. Тот, с которым столкнулись мы, не выбивался из этого ряда. Он знал о постигшем нас несчастье и понимал, что мы полностью в его власти. Помню, он носил бороденку, как у маленького чертика, непомерно удлинявшую его подбородок, и ветхую феску, прикрывавшую лысый бугристый череп. Я невзлюбил его сразу, из-за гадючьей улыбки и рук, которые он потирал с таким видом, будто собирался сожрать нас живьем.

Блисс кивнул отцу в знак приветствия и выслушал дядю, объяснившего, в каком положении мы оказались.

– Кажется, у меня есть кое-что для вашего брата, доктор, – сказал комиссионер, похоже хорошо знавший дядю, – если вам только на время, то ничего лучше вы не найдете. Не дворец, но место тихое, да и соседи приличные.

Он привел нас в патио, больше похожее на конюшню и притаившееся в самом конце узкого зловонного переулка. Затем попросил подождать на улице, встал на пороге и громко прочистил горло, чтобы разогнать женщин, – обычно так делали мужчины, возвращающиеся домой. Освободив таким образом путь, он знаком велел нам следовать за ним.

По обе стороны внутреннего дворика ютились комнатенки, набитые вышвырнутыми на обочину жизни семьями, которые пытались спастись от свирепствовавших в деревнях голода и тифа.

– Здесь, – сказал комиссионер, приподнимая занавес над дверью, ведущей в свободную комнату.

Жилище это, без окон, мебелировки и каких бы то ни было украшений, было не больше могилы и такое же скорбное. В нем воняло кошачьей мочой, околевшей домашней птицей и блевотиной. Стены, почерневшие и сочившиеся влагой, держались и не падали только чудом; пол устилал толстый слой помета и крысиного дерьма.

– Более скромной арендной платы вы нигде не найдете, – заверил нас комиссионер.

Отец задержал взгляд на скопище тараканов, завладевших сточным люком, через который спускались нечистоты, затем поднял голову и посмотрел на паутину, украшенную дохлой мошкаррой. Комиссионер краем глаза наблюдал за ним с видом рептилии, выслеживающей жертву.

– Беру, – сказал отец, к величайшему облегчению маклера.

И тут же свалил в углу наши пожитки.

– Отхожее место в глубине двора, – воодушевился комиссионер, – также есть колодец, правда высохший. Следите, чтобы ребяташки держались от него подальше. В прошлом году из-за одного бездельника, забывшего закрыть его крышкой, погибла девочка. Все остальное в полном порядке. И вот что еще... Все мои клиенты – люди порядочные и не любят всяких историй. Все они приехали из глубинки, вкалывают, как каторжные, и никогда не жалуются. Если вам что-то понадобится, обращайтесь ко мне, только ко мне и больше ни к кому, – ревностно настаивал он, – я знаю здесь всех и могу достать что угодно и днем и ночью, при том, конечно, условии, что у вас будет чем платить. Если вы вдруг не знаете, то я сдаю напрокат матрасы, одеяла, кинкеты⁴ и керосиновые печки. Достаточно только спросить. За хорошую цену я вам даже ключ с ледяной водой в руке принесу.

Отец его больше не слушал – этот человек уже внушал ему отвращение. Пока он наводил в нашем новом жилище порядок, я увидел, как дядя отвел комиссионера в сторонку и что-то незаметно вложил ему в руку.

– Благодаря этому вы надолго оставите их в покое.

Маклер посмотрел банковский билет на просвет и с нездоровым восторгом стал его разглядывать. Потом поднес его ко лбу, к губам и пролаял:

– Деньги, может, и не пахнут, но, боже мой, какой же замечательный у них вкус.

⁴ Кинкет – масляная лампа.

Глава 2

Времени отец терять не стал. Он хотел как можно быстрее вновь встать на ноги. На следующий день, на рассвете, он взял меня с собой, и мы отправились на поиски поденщины, способной принести ему несколько су. Только вот знал он об этом городе совсем немного и понятия не имел, с чего начинать. Мы вернулись на закате несолоно хлебавши и совершенно выбившись из сил. Тем временем мама прибралась в нашей халупе и навела относительный порядок. Проголодавшись, как звери, мы наспех поужинали и тут же уснули.

На следующий день, еще затемно, отец и я опять ушли искать работу. Когда мы уже преодолели форсированным маршем приличное расстояние, наше внимание привлекла какая-то толкотня.

– Что там? – спросил отец нищего в рваном тряпье.

– Набирают вьючных животных для разгрузки судов в порту.

Отец решил, что ему представился шанс всей его жизни. Он велел мне ждать на террасе допотопной харчевни и вклинился в толпу. Я увидел, как он локтями проложил себе путь и скрылся в самой ее гуще. Когда битком набитый каторжанами грузовик отъехал, отец не вернулся – ему удалось оказаться в кузове.

Я прождал его под палящим солнцем много долгих часов. Вокруг меня у барачков кучковались оборванцы, застывшие на корточках изваяниями в тени временного убежища. Взгляд у каждого из них был тусклый, лицо помечено печатью беспросветного мрака. В своем сиротливом терпении они будто ожидали какого-то события, которому не суждено было произойти. Вечером большинство из них, устав изнывать от тоски, молча разбрелись в разные стороны, и тогда в квартале не оставалось никого, кроме бездомных бродяг, пары крикливых безумцев да подозрительных личностей с глазами рептилий. Вдруг раздался крик: «Держи вора!» Ощущение было такое, будто открыли ящик Пандоры: головы поднялись, тела распрямились, словно пружины, и у меня на глазах стайка всклокоченных босяков, будто одержимых демонами, набросилась на какого-то оборванца, пытавшегося задать деру. Это и был вор. Покончено с ним было мгновенно, он орал так, что крики его еще несколько недель преследовали меня во сне. Когда казнь свершилась, в пыли осталось одиноко лежать бесформенное, окровавленное тело подростка. Я был настолько ошарашен, что подпрыгнул на месте, когда надо мной склонился какой-то человек.

– Я не хотел тебя напугать, малыш, – сказал он, поднимая руки, чтобы меня успокоить. – Но ты торчишь здесь с самого утра. Иди домой. Здесь тебе не место.

– Я жду отца, – ответил я, – он уехал на грузовике.

– И где он сейчас, твой идиот отец? Как ему только в голову пришло оставить мальчишку в подобном местечке... Ты далеко живешь?

– Я не знаю...

Человек, казалось, был озадачен. Это был огромный малый с волосатыми руками, обожженным солнцем лицом и подбитым глазом. Упершись руками в бока, он посмотрел по сторонам, затем неохотно пододвинул ко мне скамью и пригласил сесть за черный от грязи стол.

– Скоро ночь, мне пора закрывать. Ты не можешь здесь оставаться, понятно? Это нехорошо. Здесь вокруг полно чокнутых... Есть хочешь?

Я мотнул головой.

– Что-то я сомневаюсь.

Он вошел в харчевню и принес металлическую посудину с густым, похожим на студень супом.

– Хлеба больше не осталось...

Затем сел рядом и стал грустно смотреть, как я хлебаю из его котелка.

– Твой отец точно придурок! – со вздохом сказал он.

Стемнело. Хозяин харчевни закрыл свое заведение, но уходить не торопился. Он подвесил к потолочной балке фонарь и с насупленной физиономией составил мне компанию. По площади, погруженной во мрак, сновали тени. Теперь в квартале властвовали бездомные, одни из них сидели у костра, другие укладывались спать прямо на земле. Так прошло несколько часов. Шум постепенно стихал, а отец все не возвращался. Чем темнее становилось, тем больше злился кабатчик. Ему не терпелось пойти домой, в то же время он понимал, что, если хоть на минуту оставит меня одного, мне несдобровать. Когда наконец появился отец, бледный от волнения и тревоги, хозяин харчевни накинулся на него с бранью:

– Ты что себе думаешь, бестолочь? По-твоему, здесь Мекка? Что на тебя нашло, почему решил бросить мальчика в таком гиблом месте? Тут даже самые крепкие и выносливые не гарантированы от подлого удара в спину.

Увидев меня, отец испытал такое облегчение, что воспринял упреки кабатчика с таким видом, будто пил священный эликсир. Он понимал, что совершил большую ошибку, и, если бы хозяин харчевни бросил меня на произвол судьбы, он никогда бы меня больше не увидел.

– Я уехал на грузовике, – растерянно пробормотал он. – Думал, что нас привезут сюда обратно. Сам я не здешний, и порт – не соседская дверь. Я заблудился, не знал, где оказался, и понятия не имел, как сюда попасть. Вот уже несколько часов хожу по кругу.

– У тебя, парень, с головой не все в порядке, – сказал ему кабатчик, – когда ищут работу, мальцов оставляют дома... Теперь идите оба за мной да смотрите под ноги. Нам предстоит перебраться через худшую канаву со змеями, которую Бог когда-либо создавал на этой земле.

– Благодарю, брат, – сказал ему отец.

– Я не сделал ничего особенного. Просто терпеть не могу, когда кто-нибудь зарится на пацанов. Если бы было надо, я просидел бы с ним до утра. В противном случае он в этой клоаке не выжил бы, и меня доконали угрызения совести.

Он беспрепятственно вывел нас из этого гиблого места, объяснил, как обойти стороной печально известные кварталы, чтобы мы могли вернуться домой целыми и невредимыми, и растворился в ночи.

Советы кабатчика отец выполнил дословно и оставил меня на попечение матери. Утром, когда я просыпался, его уже не было, а вечером, когда он возвращался, я уже спал.

Я его больше не видел. Мне его не хватало.

В патио для меня не было ровным счетом ничего. Мне было скучно. Я вырос один, единственным моим другом был стареющий пес, и я понятия не имел, как познакомиться с ребятами, без конца дравшимися во дворе. Они напоминали собой погрузившихся в транс духов покойников. Все они были моложе меня, некоторые и вовсе от горшка два вершка, но гвалт устраивали, как все черти ада. Сидя на пороге нашей комнаты, я довольствовался тем, что наблюдал за ними, очарованный их сногшибательными играми, неизбежно заканчивавшимися либо ушибленной челюстью, либо ободранной коленкой.

Наше патио делили между собой пять семей. Все разорившиеся крестьяне или землепашцы из захолустья, получавшие за возделывание земли пятую часть урожая, которым хозяин перестал отдавать в аренду землю. В отсутствие мужчин, отправлявшихся на рассвете надрываться на каторжной работе, женщины собирались у колодца и старались вложить хоть немного души в нашу крысиную дыру, не обращая никакого внимания на отчаянные выходки своих отпрысков. Им казалось, что их чада таким образом постигают гнусные реалии этой жизни. Чем раньше, тем лучше. Матери чуть ли не в восторге наблюдали за тем, как малышня колотит друг друга, затем заливается слезами и мирится, но только для того, чтобы вновь вспылать взаимной враждой, демонстрируя при этом невероятную драчливость... Сами женщины прекрасно ладили между собой и поддерживали друг друга. Когда одну из них сваливала болезнь,

остальные договаривались вложить свою лепту в ее котел, брали на себя заботу о ее грудничке и сменяли друг друга у изголовья ее постели. Им нередко приходилось делиться сладостями, со своими маленькими несчастьями они мирились с трогательной сдержанностью. Я ими восхищался. Одна из них, слоноподобная амазонка Бадра, обожала рассказывать всякие непристойности. Для нас она была глотком кислорода. Мою мать ее грубые слова повергали в смущение, но остальные приходили от них в восторг. Бадра воспитывала пятерых крох и двух трудных подростков. Первый раз она вышла замуж за пастуха, тупого как пробка, чуть ли не слабоумного. Говорила, что он забирается на нее, как осел, но что делать дальше, не знал... Другая, тощая и смуглая, как гвоздика, Батуль, с татуировками на лице и совершенно седая в свои сорок лет, корчилась от смеха еще до того, как Бадра открывала рот. Когда-то ее насильно выдали замуж за старика, годившегося ей в дедушки; она утверждала, что обладает способностями к ясновидению, гадала по руке и толковала сны. К ней постоянно обращались за советом и соседки, и женщины, приезжавшие издалека, и она за несколько картофелин, су или кусочек мыла предсказывала им судьбу. С обитателей патио денег за это она не брала... Еще у нас была Езза, рыжая толстуха с пышной грудью, которую через день колотил пьяница муж. От постоянных побоев рожа у нее вечно была в синяках, зубов почти не осталось. Все ее преступление состояло в том, что она не родила мужу наследников, что в глазах окружающих делало его еще более отвратительным. Марна, бойкая, как десяток горничных, и окруженная целой сворой ребятишек, шла на любые уступки, лишь бы у них над головой была крыша... Хадда, красивая, как гурия; не успев еще выйти из подросткового возраста, она уже произвела на свет двух малышек. Как-то утром ее муж ушел искать работу, да так больше и не вернулся. Предоставленная самой себе, без опоры и средств к существованию, она жила исключительно милостью соседок.

Каждый день эти женщины собирались у колодца и проводили большую часть времени перебирая прошлое, точно ковыряли ножом еще не затянувшуюся рану. Говорили об отнятых фруктовых садах, о милых, навсегда утраченных холмах, о близких, оставшихся дома, в краю обездоленных, который им, вероятнее всего, больше не суждено было увидеть. Их лица в такие минуты увядали, а голоса предательски дрожали. Когда их без остатка грозила поглотить печаль, Бадра вновь пускалась исступленно расписывать сумбурные постельные утешения первого мужа; грустные воспоминания, будто под влиянием волшебного заклинания, ослабляли свою смертельную хватку, женщины падали на землю и содрогались от хохота. Хорошее настроение изгоняло убийственные мысли о прошлом, и патио вновь обретало крохотную частичку души.

Шутки продолжались до темноты. Порой в патио, ободренный отсутствием мужчин, с видом храбреца заявлялся комиссионер Блисс. Заслышав, как он громко прочищает горло, женщины тут же исчезали. Маклер энергично вбегал в опустевший двор, орал на ребятишек, которых терпеть не мог, выискивал всякие мелочи, а обнаружив на стене какую-нибудь царапину, обзывал нас неблагодарной деревенщиной и подонками. Затем в открытую вставал перед жилищем Хадды, вероломный, как одноглазая вошь, и грозился вышвырнуть *всех* на улицу. После его ухода женщины выходили из своих берлог и хихикали – фанфаронада маклера их не столько пугала, сколько веселила. Бахвальство Блисс выдавал тоннами, но для серьезного поступка был жидковат. Он ни за что не осмелился бы сунуться своей крысиной мордой в патио в присутствии мужчины, даже тяжелобольного или лежащего на смертном одре. Бадра уверяла всех, что он злился на Хадду. Молодая женщина, уязвимая, оставшаяся без денег, не всегда вовремя платившая за жилье и в силу этого оказавшаяся в зависимом положении, была легкой добычей, и комиссионер давил на нее, дабы подчинить своей воле.

Стараясь оградить меня от грубых речей Бадры, мать разрешила мне выходить на улицу, если, конечно, можно назвать улицей утоптанную дорожку, по обе стороны которой шли ряды лачуг из листов оцинкованного железа и пропитавшихся гнилью барачков. Относительно проч-

ных домов было всего два: наш и некое подобие конюшни, в которую набилось несколько семей.

На углу священнодействовал брадобрей, невзрачный человечиска неопределенного возраста, росточком чуть больше побега спаржи и такой субтильный, что крепкие парни напрочь отказывались ему платить. Его мастерская под открытым небом состояла из ящика из-под боеприпасов, явно со свалки военного имущества, куска зеркала, вытащенного из платяного шкафа, и рахитичного вида доски, на которой громоздились кастрюля, облезлая кисточка для бритья, кривые ножницы и набор негодных для использования лезвий. Если он не брил стариков, усевшихся прямо на землю, то распевал, присев на корточки и привалившись спиной к ящику. Голос у него был хриплый, слова он помнил далеко не всегда, но в его манере замаливать свою боль было нечто такое, что западало прямо в душу. Мне никогда не надоедало его слушать.

Рядом с брадобреем возвышалось скопление диковинок, выдававшее себя за бакалейный магазин. Хозяина лавки, старого конника арабской кавалерии, когда-то примкнувшего к реформатам, но впоследствии оставившего часть тела на минном поле, звали Деревянная Нога. Сделанную из дерева ногу я тогда увидел впервые в жизни. Она произвела на меня странное впечатление. Бакалейщик, похоже, очень гордился ею и обожал потрясать перед носом мальчишек, вечно крутившихся рядом с его консервными банками.

Своей торговлей Деревянная Нога был недоволен. Ему не хватало запаха драки и атмосферы казарм. Он мечтал вернуться в армию и схватиться врукопашную с врагом. А пока его отрезанная конечность не отросла, он торговал консервами с черного рынка, сахарными головами и поддельным растительным маслом. В свободное время этот человек выполнял обязанности зубодера – я сто раз видел, как он ржавыми щипцами вытаскивал у пацанов гнилые пеньки с таким видом, будто вырывал у них из груди сердце.

За его лавкой начинался пустырь, переходивший в густые заросли. Как-то утром я отправился туда, привлеченный сражением между двумя бандами уличных мальчишек, одной из которых предводительствовал Дабо, малолетний дикарь с бритой головой и небольшим чубчиком на лбу, другой – великовозрастный верзила, по всей видимости отставший в развитии и возомнивший себя завоевателем. И тут же земля будто ушла у меня из-под ног. В долю секунды на меня налетел вихрь рук, в едином порыве содравший с тела стоптанные башмаки, гандуру и феску, так что я даже не успел понять, что произошло. Потом меня попытались затащить в кусты и обесчестить. Понятия не имею, как мне удалось убежать от этой своры. Потрясенный до глубины души, я никогда больше не осмеливался ступить ногой на эту проклятую территорию.

Отец вкалывал, как каторжный, но особыми успехами похвастаться все равно не мог. Ранних пташек, отправлявшихся спозаранку на поиски заработка, было не счесть, но работа была блюдом редким. В канавах со слипшимися от голода кишками загибалось слишком много сырых и убогих, а те, кто еще стоял на ногах, без колебаний вступали в драку за корочку прогорклого хлеба. Времена были суровые, и город, издали манивший проблесками надежды, вблизи оказывался жуткой ловушкой для простаков. Примерно один раз из десяти отцу удавалось получить сдельную работу, вознаграждение за которую не позволяло даже купить мыла, чтобы умыться. По вечерам он порой переступал порог, пошатываясь, с изможденным лицом и спиной, нывшей от нескончаемых мешков, которые он таскал на ней с утра до вечера. Она болела так, что ему приходилось спать на животе. Отец весь высох, но в первую очередь отчаялся. Упрямство под грузом сомнений стало давать трещину.

Прошло несколько недель. Отец тошал на глазах. Он становился все раздражительнее и всегда находил предлог для того, чтобы излить на мать свой гнев. Бить он ее не бил, только кричал, а мать стоически опускала повинную голову и ничего не говорила. Жизнь проходила мимо, и наши ночи наполнялись злобой. Отец перестал спать, постоянно ворчал и стучал кула-

ком по ладони. Я слышал, как он, погрузившись в мрачные раздумья, меряет шагами комнату. Порой он выходил во двор, садился на землю, обхватывал руками ноги, упирался подбородком в колени и сидел так до самого утра.

Однажды утром он велел мне надеть самую приличную гандуру и повел к своему брату. Дядя в аптеке расставлял по полкам коробки и флаконы.

Перед тем как войти, отец застыл в нерешительности. Гордый, но попавший в затруднительное положение, он долго ходил вокруг да около, прежде чем перейти к цели своего визита: ему нужны были деньги... Дядя тут же запустил руку в кассу, будто ожидал чего-то подобного, и извлек на свет божий крупную купюру. Отец с болью во взгляде уставился на нее. Дядя понял, что брат не протянет за ней руки. Он вышел из-за прилавка и положил деньги ему в карман. Отец будто окаменел и стоял, понуриив голову. Когда он сказал «спасибо», голос у него был глухой, сиплый и такой тихий, что его едва можно было различить.

Дядя вновь встал за прилавок. Было заметно, что его что-то гложет, но вскрывать нарыв, чтобы оздоровить обстановку, он не осмеливался. Он без устали ловил взгляд отца, а его белые, чистые пальцы нервно барабанили по дереву. Взвесив добросовестно все за и против, он набрался храбрости и сказал:

– Иса, я знаю, как тебе тяжело. Но также знаю, что ты справишься... если позволишь мне немного тебе помочь.

– Я верну все до последнего су, – пообещал отец.

– Я не об этом, Иса. Расплатишься когда захочешь. Если бы это зависело только от меня, то тебе даже не надо было бы об этом беспокоиться. Я могу одолжить тебе и больше, для меня это не проблема. Я твой брат, можешь обращаться ко мне с любыми просьбами и в любое время... – Он немного помолчал, прочистил горло и продолжил: – Даже не знаю, как тебе сказать, мне всегда было трудно с тобой общаться. Я очень боюсь тебя обидеть, хотя всего лишь хочу быть твоим братом. Но для тебя, Иса, настало время научиться слушать. В этом нет ничего плохого. В жизни постоянно приходится чему-то учиться – она так быстро меняется, вместе с ней меняется и наше мышление, в результате человеку кажется, что он узнает все больше, хотя на самом деле пробел в его знаниях все расширяется и расширяется.

– Я справлюсь...

– На этот счет я даже не сомневаюсь, Иса. Ни на секунду. Но для реализации добрых намерений нужны средства. Считать, что ты тверд как скала, еще мало.

– На что ты намекаешь, Махи?

Дядя нервно теребил пальцы, искал слова, вертел их и так и сяк в голове, затем глубоко вдохнул и сказал:

– У тебя жена и двое детей. Для человека, лишившегося всего, это обуза. Они связывают тебя по рукам и ногам и подрезают крылья.

– Они моя семья.

– Но я ведь тоже твоя семья.

– Это разные вещи.

– Нет, Иса, это одно и то же. Твой сын – мой племянник. В его жилах течет моя кровь. Отдай его мне. Ты прекрасно знаешь, что он вряд ли добьется значительных успехов, если пойдет по твоим стопам. Кого ты собираешься из него сделать? Грузчика, чистильщика обуви, погонщика ослов? Посмотри правде в глаза. С тобой для него все дороги закрыты. Парню нужно ходить в школу, научиться читать и писать, получить хорошее воспитание. Я знаю, маленьким арабам учиться вроде ни к чему. Их удел – пашня и стадо скота. Но я могу определить его в школу и сделать из него образованного человека... Прошу тебя, не принимай мои слова в штыки. Подумай, хотя бы минуту. С тобой у мальчика нет будущего.

Отец долго размышлял над словами брата, опустив глаза и плотно сжав зубы. Когда он поднял голову, лица у него больше не было – его сменила бледная маска.

С тяжелым сердцем он сказал:

– Нет, брат, ты никогда ничего не поймешь.

– Зря ты так, Иса.

– Помолчи... не говори больше ничего, и так сказал уже достаточно... У меня нет твоего знания, и я очень об этом сожалею. Но если знание сводится к тому, чтобы унижать других, считая их полными отбросами, то мне оно не нужно.

Дядя хотел было что-то сказать, но отец твердой рукой его остановил. Затем вытащил из кармана банкноту и положил ее на прилавок:

– И деньги твои мне тоже не нужны.

С этими словами он схватил меня за руку с такой злобой, что чуть не вывихнул плечо, и вытолкнул на улицу. Дядя хотел было нас догнать, но не осмелился и замер на пороге аптеки, уверенный, что брат до конца дней своих не простит ему только что совершенную ошибку.

Отец не шагнул, он катился, как огромный валун по склону холма. На моей памяти подобных приступов гнева с ним еще не случалось. Он был готов взорваться. Лицо его дергалось в нервном тике, он страстно желал, чтобы весь мир провалился под землю, – это явственно читалось в его глазах. Он ничего не говорил, и это возмущенное, негодующее молчание, еще больше накалявшее ситуацию, заставляло меня опасаться худшего.

Когда мы отошли на приличное расстояние, он прижал меня к стене и вперил в мои перепуганные глаза тяжелый, безумный взгляд.

– Ты думаешь, я полное ничтожество? – хрипло сказал он. – Думаешь, я произвел на свет мальчишку, чтобы глядеть, как он медленно погибает?... Ну так знай – ты ошибаешься. И твой лицемер дядя тоже ошибается. И судьба, полагающая, что я дошел до ручки, тоже дала маху... А знаешь почему? Я хоть и получил расчет, но еще не отдал Богу душу. Я все еще жив и силен, как бык. У меня железное здоровье, я одними руками могу свернуть горы, и гордость мою не поколебать никому.

Его пальцы впились в мое плечо, причиняя мне боль. Но он этого даже не замечал. Глаза в глазницах ворочались, как два раскаленных добела шара.

– Да, спасти нашу землю у меня кишка оказалась тонка. Но вспомни, я же ведь вырастил урожай! А то, что произошло потом, не моя вина. Молитвы и усилия часто оказываются бессильными перед человеческой жадностью. Я был наивен. Но теперь – нет. Никто больше не сможет нанести мне удар в спину... Я начинаю с нуля. Но начинаю как человек искушенный. Я буду ишачить почище любого негра, не уступлю никакому злему року, и тогда ты собственными глазами увидишь, какой достойный у тебя отец. Я хочу вытащить нас из ямы, в которой мы оказались! Клянусь, я заставлю ее нас выплюнуть. Ты-то хоть мне веришь?

– Да, папа.

– Посмотри мне в глаза и скажи, что веришь.

Нет, это были не глаза, теперь на его лице зияли два бездонных провала, наполненные слезами и кровью, грозившие поглотить нас обоих без остатка.

– Посмотри на меня.

Он с силой схватил меня за подбородок и заставил поднять голову.

В горле у меня застрял непомерных размеров ком. Я не мог ни слова сказать, ни выдержать его взгляд. И стоял прямо только потому, что меня держала его рука.

Вдруг он другой рукой залепил мне оплеуху.

– Молчишь, потому что считаешь все это бредом собачьим. Грязный сопляк! Ты не вправе во мне сомневаться, слышишь? Никто не вправе. И если твой дерьмовый дядя считает, что я ничего не стою, то и он для меня теперь тоже пустое место.

Впервые в жизни он поднял на меня руку. Я не понимал, я даже понятия не имел, в чем заключалась моя провинность и почему он на меня набросился. Мне было стыдно, что я

его разозлил, я боялся, что отец, человек, значивший для меня больше всех на свете, от меня отречется.

Отец опять занес руку, но так и не ударил. Пальцы его дрожали. От припухших век лицо казалось уродливым. Из груди вырвался хрип раненого зверя, он всхлипнул, с силой прижал меня к груди и не отпускал так долго, что мне показалось, я вот-вот умру.

Глава 3

Женщины собрались за низеньким столом в углу патио. Пили чай и грелись на солнце. Мать скромно сидела с ними с Зарой на руках. Некоторое время назад она в конце концов присоединилась к их компании, хотя участия в разговорах не принимала. Она была кроткой и, когда Бадра пускалась рассказывать свои сальные истории, краснела и задыхалась от смущения. В этот послеполуденный час говорили понемногу обо всем, переходя от одной темы к другой, просто чтобы не поддаваться жаре, изливавшейся на двор. Рыжая Езза сверкала подбитым глазом: накануне ее муж опять вернулся домой в подпитии. Остальные делали вид, что ничего не произошло. Из приличия. Езза была дама гордая и подлость мужа терпела с достоинством.

– Мне вот уже какую ночь подряд снится странный сон, – сказала Марна гадалке Батуль, – один и тот же: я лежу в темноте, растянувшись на животе, и кто-то вонзает мне в спину нож.

Женщины повернулись к Батуль, ожидая, что она на это скажет. Гадалка надула губы и почесала голову – на ум не приходило ничего путного.

– Один и тот же, говоришь?

– Да, в точности один и тот же.

– Ты лежишь в темноте на животе и кто-то вонзает тебе в спину кинжал? – спросила Бадра.

– Так оно и есть, – подтвердила Марна.

– А ты уверена, что это именно кинжал, а не что-то другое? – вновь спросила Бадра, закатывая шаловливые глаза.

Женщины на несколько секунд замерли, вникая в смысл намека Бадры, и разразились хохотом. И поскольку Марна не могла понять, что заставило товарок умирать со смеху, Бадра немного ей помогла:

– Скажи мужу, чтобы был осторожен.

– Ну ты напрочь больная! – взвилась Марна. – Я ведь серьезно.

– Представь себе, я тоже.

Женщины заржали пуще прежнего, широко открывая рты в приступах судорожного хохота. От их нескромности Марне сначала стало тошно, она на них обиделась, но потом, видя, как они схватились за животы, тоже стала улыбаться, а затем и вовсе покатилась со смеху, перемежая его икотой.

Одна лишь Хадда оставалась серьезной. Она свернулась клубочком, крохотная, но упитительно прекрасная, с огромными глазами сирены и милыми ямочками на щеках. Выглядела она печальной и с тех пор, как присела к остальным, не промолвила ни слова. Вдруг она протянула над столом Батуль руку и спросила:

– Скажи мне, что ты видишь?

В голосе ее звенела невыносимая печаль.

Батуль застыла в нерешительности. Под внимательным взглядом молодой женщины она взяла маленькую ручку за кончики пальцев и провела ногтем по линиям, прочертившим прозрачную ладонь.

– У тебя рука волшебницы, Хадда.

– Скажи мне, что ты видишь, славная соседка. Мне нужно знать. Я больше не могу.

Батуль долго вглядывалась в ладонь. Не говоря ни слова.

– Мужа моего видишь? – допытывалась Хадда, доведенная до крайности молчанием гадалки. – Где он? Чем занимается? У него что, другая жена? Может, он умер? Умоляю тебя, скажи, что ты видишь. Я готова услышать правду, какой бы она ни была.

Батуль вздохнула, плечи ее опустились.

– Я не вижу на твоей руке мужа, бедная моя. Нигде. Я не чувствую его присутствия и не ощущаю даже намека на его след. Либо он уехал настолько далеко, что забыл тебя, либо его больше нет на этом свете. С уверенностью можно сказать лишь одно: он больше не вернется.

Хадда судорожно сглотнула, но выдержала. Ее глаза впелись в лицо гадалки.

– Что уготовило мне будущее, славная моя соседка? Что со мной станет, как я буду жить одна с двумя малолетними детьми на руках, без близких, без семьи?

– Мы не оставим тебя в беде, – пообещала ей Бадра.

– Если меня бросил муж, то никакая другая спина на себе уж точно не потащит, – возразила Хадда. – Батуль, скажи, что со мной будет? Я должна знать. Когда человек готов к худшему, ему легче сносить удары судьбы.

Батуль склонилась над рукой соседки, вновь и вновь проводя ногтем по скрещивавшимся на ладони линиям.

– Вижу вокруг тебя много мужчин, Хадда. Но очень мало радости. Счастье – не твой удел. Вижу короткие периоды просветления, быстро сменяющиеся годами мрачной тоски. Но ты все равно не сдашься, несмотря ни на что.

– Много мужчин? Что это значит? Я что, несколько раз овдовею или же со мной будут постоянно разводиться?

– Сказать точно ничего нельзя. Вокруг тебя слишком людно и шумно. Это похоже на сон, но... нет, это не сон... это... странно... Может, я несу чепуху... Знаешь, я сегодня немного устала. Прости меня...

Батуль встала и неуверенным шагом направилась в свою комнату. Моя мать воспользовалась ее уходом, чтобы тоже улизнуть.

– И не стыдно тебе проводить время с женщинами? – грубо, но тихо бросила она мне, когда на двери нашей лачуги за нами опустился занавес. – Сколько раз тебе повторять: мальчик не должен слушать, о чем судачат матери! Ступай на улицу. Только далеко не уходи.

– Что мне там делать, на этой улице?

– А с женщинами тебе и подавно делать нечего.

– Они опять полезут со мной драться.

– Давай сдаци, ты же не девочка. Рано или поздно тебе придется научиться защищаться, а если ты только то и будешь делать, что слушать женские сплетни, из тебя ничего путного не получится.

Я не любил уходить из дому. Злоключения на пустыре наложили на меня клеймо. Я осмеливался высунуть нос на улицу, лишь внимательно осмотрев предварительно окрестности, глядя одним глазом вперед, а другим назад и готовый задать стрекача при малейшем подозрительном движении. Я отчаянно боялся мальчишек, особенно некоего Дахо, приземистого пацана, уродливого и хитрого, как джинн. Он меня пугал. Завидев его в конце улицы, я чувствовал, что рассыпаюсь на мелкие кусочки, и готов был даже пройти сквозь стену, лишь бы избежать встречи с ним. Этот мрачный мальчишка, непредсказуемый, как молния, разбойничал в окрестностях во главе банды малолетних гиен, таких же коварных и жестоких, как и он сам. Никто не знал ни откуда он взялся, ни кто были его родители, но все сходились в том, что рано или поздно его либо повесят, либо посадят на кол.

Был еще Эль Моро, бывший арестант, вернувшийся в город после семнадцати лет каторги, – великан, почти даже исполин, с массивной головой и руками, в которых чувствовалась геркулесова сила. Все его тело покрывали татуировки, на выбитом глазу красовалась кожаная повязка. Лицо, от правой брови до подбородка, прорезал шрам, превращавший рот в уродливую заячью губу. Эль Моро представлял собой ужас в натуральную величину. Слух о его появлении распространялся моментально, и окрестные жители тут же старались исчезнуть. Как-то утром мне довелось увидеть его вблизи. Наша ватага мальчишек собралась вокруг Деревянной Ноги, бакалейщика. Старый конник арабской кавалерии как раз рассказывал нам о

своих подвигах в марокканском эмирате Риф и подавлении восстания бербера Абд эль-Крифа. Мы с жадностью ловили каждое слово, слетавшее с его уст, но вдруг наш герой побледнел как полотно. Его, казалось, вот-вот хватит сердечный приступ. Но причина крылась в другом: за нами, уперев руки в бока, на своих могучих ногах стоял Эль Моро. С ухмылкой на губах он мерил бакалейщика взглядом.

– Тебе не терпится отправить этих сорванцов на бойню, деревянная башка? Ты поэтому забиваешь им голову своей гнусной трепотней? А почему бы тебе не поведать им о том, как после долгих лет преданной службы офицеры выбросили тебя, без одной ноги, на съедение собакам?

Деревянная Нога на мгновение потерял дар речи и лишь открывал и закрывал рот, подобно выброшенной на берег рыбе.

Эль Моро тем временем, распаяясь все больше и больше, продолжал:

– Ты сжигаешь бедуйские деревни, вырезаешь скот, стреляешь в бедолаг из карабина и затем выкладываешь свои долбаные трофеи на видном месте. И это ты называешь войной?.. Хочешь, я тебе скажу? Ты всего лишь трус, ты мне отвратителен. Когда я гляжу на тебя, у меня возникает желание насаживать тебя на твою деревянную ногу до тех пор, пока глаза не повывезут из орбит... Таким героям, как ты, памятники не ставят, вы даже не заслуживаете эпитафии на братской могиле. Ты всего лишь продажное дерьмо, возомнившее, будто ему позволено сморкаться в штандарт его хозяев.

Бедный конник зеленел и дрожал; на его шее бешено дергался кадык. Вдруг он почувствовал себя плохо и обделался от страха.

Но в Женан-Жато обитали не только мальчишки и бандиты. В большинстве своем люди там были неплохие. Нищета так и не смогла загубить их души, а горести – искоренить доброту. Они понимали, что дороги в жизни им нет, но по-прежнему ждали, когда на них упадет манна небесная, пребывали в полной уверенности, что неудачи, неотступно преследовавшие их, в один прекрасный день закончатся, и тешили себя надеждой возродиться из пепла. Люди они были достойные, а порой даже весьма привлекательные и смешные. Они продолжали верить в лучшее, и это наделяло их неслыханным терпением. Базарный день в Женан-Жато представлял собой что-то вроде праздника по случаю ярмарки, и каждый вносил свой вклад ради поддержания этой иллюзии. Вооружившись половниками размером с хорошую дубину, торговцы супом стояли насмерть, отбиваясь от нищих. За мелкую монетку можно было купить жидкую похлебку из турецкого гороха с тмином. Те, кому она была не по вкусу, могли зайти в одну из прокопченных харчевен, вокруг которых гроздьями кружили голодные, вдыхая полной грудью исходившие от них ароматы. Без хищников, конечно, тоже не обходилось; они стекались со всех концов города в поисках неосторожности или нерадения, которые можно было бы обратить в звонкую монету. Обитатели Женан-Жато на провокации не поддавались. Они понимали, что извращенную душу не исправишь, и проходимцам предпочитали бродячих циркачей. Все, от мала до велика, были от них без ума. В ярмарочных любимчиках неизменно ходили гуалы. Вокруг их помостов всегда собирались шумные толпы. Никто толком не понимал, о чем они толкуют, – их истории были столь же нелепыми, как и одежда, – но они обладали даром ошеломить слушателей и держать их в напряжении до тех пор, пока не будут рассказаны до конца все их байки. Для нас они были чем-то вроде оперы для бедноты, театром под открытым небом. К примеру, именно от них я узнал, что вода в море была пресной до тех пор, пока в него не пролили слезы вдовы моряков...

После гуал шли заклинатели змей. Они пугали нас, швыряя своих рептилий нам в руки. Как-то раз я увидел, как один из них заглатывал до половины трепещущих гадюк, а потом украдкой прятал их в рукавах своей гандуры – зрелище отвратительное, но в то же время завораживающее. Ночью он явился ко мне в кошмаре... Самыми бесчестными были шарлатаны всех пород и мастей; они жестаами зазывали покупателей, стоя за столами, заставленными

таинственными снадобьями, амулетами, талисманами и засушенными насекомыми, известными своей способностью повышать любовное влечение. Они предлагали средства от всех без исключения болезней: глухоты, зубного кариеса, подагры, паралича, теснения в груди, бесплодия, лишая, бессонницы, сглаза, невезения, фригидности, и люди попадались на крючок, демонстрируя поразительную доверчивость. Находились даже такие, кто, приняв приворотное зелье, уже через три минуты кричал о чуде и катался в пыли. Это впечатляло. Порой в толпе вещали прорицатели с замогильными голосами и степенными жестами. Они взбирались на первое попавшееся возвышение и, взлетая на крыльях лирического воодушевления, возвещали о загнивании умов и о неизбежном приближении Страшного суда. Затем разглагольствовали об Апокалипсисе, о гневном человеческом, о роке и порочных женщинах, показывали пальцами на прохожих, без стеснения обрушивались на них с бранью или принимались излагать эзотерические теории, которым не было ни конца ни края... «Сколько рабов восстали против империй, чтобы закончить свою жизнь на кресте? – горланил один из них, трясая спутанной бородой. – Сколько пророков пытались вразумить нас, хотя после их речей мы становились только глупее?» «Сколько раз тебе повторять, что ты до смерти нам осточертел? – несло ему в ответ из толпы. – Вместо того чтобы донимать нас этой идиотской чушью, лучше заткни пасть и покажи танец живота».

Одной из главных наших достопримечательностей был Слимман. С шарманкой наперевес и обезьянкой на плече он расхаживал по площади, вращая ручку своего музыкального инструмента, а его крохотная уистити протягивала зевакам лакейскую фуражку. Когда же те бросали монетки, она благодарила их уморительными гримасами... Чуть поодаль, ближе к загонам для скота, священнодействовали продавцы ослов, ловкие вербовщики и грозные барышники, которые говорили так складно и убедительно, что даже могли выдать мула за чистокровного рысака. Я обожал слушать, как они расхваливали свой товар. Когда они охмуряли очередную жертву, это для нее было чистой воды наслаждением, – ей казалось, что ее окружили заботой, доступной разве что каидам... Порой в самый разгар праздника приезжали Каркабо, труппа чернокожих, увешанных амулетами мужчин, которые танцевали, как боги, закатывая молочные белки глаз. Об их приближении еще издали возвещало шелканье металлических кастаньет и барабанный бой, выделявшийся на фоне царившей вокруг адской какофонии. Каркабо читали нас своим присутствием только по случаю дня чествования марабута Сиди Блала, их святого покровителя. Они приводили с собой жертвенного бычка в попоне с цветами братства и ходили от двери к двери, чтобы собрать средства, необходимые для совершения ритуала искупления. Их появление в Женан-Жато периодически нарушало царившую здесь скуку; женщины, несмотря на запрет, подбегали к дверям, ребячьи разбегалась в стороны, подобно тушканчикам, за которыми гонятся терьеры, и суматоха от всего этого становилась еще головокружительнее.

Среди всех наших сказочных персонажей пальму первенства конечно же держал Слимман. Музыка его была нежна, прекрасна и будто лилась из чистого источника, а обезьянка – в высшей степени забавна. Говорили, что Слимман родился в образованной и процветающей семье французских христиан, но потом влюбился в бедуинку из Тадмая и принял ислам. Кроме того, ходили слухи, что он якобы когда-то жил на широкую ногу, потому что семья от него не отреклась, но потом решил остаться вместе с народом, его усыновившим, чтобы разделить все его радости и печали. Это было очень трогательно. Ни один араб, ни один бербер, даже самый презренный и недостойный, ни разу не выказал Слимману неуважения и никогда не поднял на него руку. Я очень любил этого человека. Даже сейчас, став стариком, я убежден, что никто в моих глазах не воплощал со столь блестящей очевидностью величайшую, на мой взгляд, силу и добродетель – рассудительность, качество, ставшее в наши дни такой редкостью, но возвышавшее мой народ в те времена, когда его никто и в грош не ставил.

Тем временем у меня появился друг, несколькими годами меня старше. Звали его Уари. Хрупкий, почти даже женственный мальчик, белокурый, едва не рыжий, с густыми бровями и орлиным носом, горбатым, как садовый нож. Впрочем, другом его назвать можно было с натяжкой; мое присутствие его не смущало, и, поскольку он мне был нужен, я всегда старался быть рядом. Уари, скорее всего, был сиротой или сбежавшим от родителей ребенком, я ни разу не видел, чтобы он переступал порог какого-нибудь дома. Он влачил жалкое существование за огромной кучей железного лома, в некоем подобии усеянного мусором загона, и с утра до вечера занимался тем, что ловил щеглов и затем их продавал.

Уари был молчун. Я мог разговаривать с ним часами напролет, но он не обращал на меня никакого внимания. Непонятный, одинокий мальчик и единственный в квартале, кто носил городские штаны и берет, в то время как мы все ходили в гандурах и фесках. По вечерам он мастерил свои силки из смазанных клеем веток оливкового дерева, утром я отправлялся с ним в заросли и помогал прятать в кустах ловушки. Каждый раз, когда на них сверху садилась птица и начинала неистово бить крыльями, мы бросались к ней, сажали в клетку и ждали, когда в западню попадутся другие. А потом ходили по улицам и предлагали наши охотничьи трофеи начинающим птицеловам.

Именно с Уари я заработал свои первые гроши. Он никогда не жульничал. По завершении нашей экспедиции, растягивавшейся на несколько дней, я шел за ним в какое-нибудь спокойное местечко, и он высыпал на землю содержимое ягдташа, служившего ему кошельком. Одно су он брал себе, второе отдавал мне и так далее до тех пор, пока делить было нечего. Затем отводил меня в патио и исчезал. На следующий день я опять приходил к нему в вольер. Он настолько мог обходиться без меня, да и без посторонней помощи вообще, что сам ко мне, скорее всего, никогда бы не пришел.

С Уари мне было хорошо. Он был уверен в себе, спокоен и безмятежен. Даже чертов Дахо и тот оставил нас в покое. У него был мрачный, тяжелый, непроницаемый взгляд, перед которым пасовали местные задиры. Говорил Уари мало, что правда, то правда, но, когда хмурил брови, пацаны задавали такого стрекача, что за ними едва поспевали собственные тени. Думаю, что рядом с Уари я был счастлив. Я пристрастился к охоте на щеглов и узнал очень многое о ловушках и искусстве маскировки.

Но в один вечер, когда я надеялся вселить в душу отца гордость за меня, все рухнуло. Я дождался, когда все поужинают, вынул из укромного местечка кошелек и дрожащей рукой протянул родителю плоды моих трудов.

– Что это? – недоверчиво спросил он.

– Я не умею считать... Это деньги, которые я заработал, продавая птиц.

– Каких еще птиц?

– Щеглов. Я ловлю их с помощью обмазанных клеем веток...

Отец злобно схватил меня за руку, не давая больше сказать ни слова. Его глаза вновь стали похожи на два раскаленных добела шара. Когда он заговорил со мной, голос его дрожал от волнения.

– А теперь, дитя мое, не упусти ни одного слова из того, что я тебе скажу. Мне не нужны ни твои деньги, ни имам у изголовья моей постели.

Чем больше я кривился от боли, тем сильнее он сжимал мое запястье.

– Вот видишь?.. Тебе больно. И твое страдание я ощущаю в самых глубинах моего естества. Нет, я не хочу размозжить тебе руку, я лишь пытаюсь вбить в твою маленькую головку, что я не призрак, я живу, я из плоти и крови.

Мои ногти впились в его ладонь. Слезы застили взор. Я задышался от боли, но о том, чтобы застонать или заплакать, и речи быть не могло. Мерилом моих отношений с отцом была честь, а мерилom чести – наша способность преодолевать жизненные невзгоды и трудности.

– Что ты видишь? Вот здесь, прямо у тебя перед носом? – спросил он, показывая на низкий столик, уставленный остатками трапезы.

– Наш ужин, папа.

– Мы не пируем, но у тебя есть еда и ты не голодаешь, верно?

– Да, папа.

– С тех пор как мы поселились в этом патио, ты хоть раз ложился спать на голодный желудок?

– Нет, папа.

– А этот столик, за которым ты ужинаешь, был у нас, когда мы сюда приехали?

– Нет, папа.

– А керосиновая печка, вон там в углу, ее нам что, подарили? Или, может, мы нашли ее на улице?

– Ее нам купил ты, папа.

– По приезде сюда мы жили при свете каганца – крохотного фитилька, плавающего в лужице масла, помнишь?.. А теперь?

– Теперь у нас есть керосиновая лампа.

– А матрасы, одеяла, подушки, ведро, веник?

– Это все купил ты, папа.

– Тогда почему ты, дитя мое, никак не хочешь меня понять? Когда-то я тебе уже сказал, что хоть и получил расчет, но душу Богу еще не отдал. Сохранить для тебя землю наших предков оказалось не в моей власти, и я об этом очень сожалею. Ты даже представить себе не можешь, до какой степени. Не проходит и минуты, чтобы я себя в этом не упрекнул. Но я не опускаю рук и вкалываю, как проклятый, чтобы вновь встать на ноги. Потому что пройти этот трудный путь должен сам, без посторонней помощи. Ты слушаешь меня, мальчик мой? Я не хочу, чтобы ты чувствовал вину за то, что с нами произошло. Ты здесь ни при чем. Ты ничего мне не должен, и я не пошлю тебя надрываться, как каторжному, чтобы мы могли свести концы с концами. Такое решение не для меня. Я падаю и опять поднимаюсь, это цена, которую мне приходится платить, но обиды ни на кого не таю. И я добьюсь своего, обещаю тебе. Неужели ты забыл, что я голыми руками могу своротить горы? Так что во имя тех, кого с нами больше нет, и во имя ныне живущих, если ты хочешь, чтобы совесть моя была чиста, никогда больше не повторяй того, что ты сделал сегодня. Помни, что каждое су, которое ты принесешь домой, добавит на мою голову немного позора.

Он отпустил меня. Рука и кошелек будто намертво спаялись – я не мог даже пошевелить пальцами. Онемело все предплечье, до самого локтя.

На следующий день я отправился к Уари и отдал ему весь свой заработок.

Увидев, как я уронил кошелек в его ягдташ, Уари слегка нахмурил брови. Но его изумление скоро прошло, и он снова занялся своими силками с таким видом, будто ничего не произошло.

То, как повел себя отец, немало меня обеспокоило. Как он мог так плохо отнестись к моему скромному вкладу? Я же был его сын, плоть от его плоти! Из каких нелепых соображений мои добрые намерения обернулись обидой? Как бы я гордился, если бы он взял мои деньги! Но вместо этого только нанес ему страшную рану.

Полагаю, что с той самой ночи я перестал верить в справедливость моих добрых намерений. Сомнения завладели всем моим естеством и заполнили его без остатка.

Я ничего не понимал.

И ни в чем не был уверен.

Отец взял ситуацию в свои руки. В первую очередь он стремился доказать мне, что дядя жестоко заблуждался на его счет, и для этого работал как вол, ничего от нас не скрывая.

Обычно он никогда не делился своими планами, опасаясь их сглазить, но теперь в подробностях рассказывал матери о демаршах, предпринятых им, чтобы расширить поле деятельности и заработать несколько лишних су. И при этом специально повышал голос, чтобы я мог его слышать. Он обещал нам всевозможные чудеса и золотые горы, возвращаясь с работы, звенел монетами, с горящими глазами говорил о будущем доме, самом что ни на есть настоящем, со ставнями на окнах, деревянной входной дверью и – как знать? – может, даже с небольшим огородом, где он посадит кориандр, мяту, помидоры и огромное количество сочных клубней, которые будут таять во рту почище любых сладостей. Мама слушала его; она была счастлива видеть, как муж громоздит планы и мечты, и даже если не принимала его слова за чистую монету, то, по крайней мере, делала вид, что верит, а когда он брал ее за руку – чего я раньше никогда не видел, – млела от восторга.

Отец выбивался из сил. Он хотел исправить положение и как можно быстрее положить конец нашим бедам. Утром он помогал травнику, днем подменял лоточника, торгующего овощами, по вечерам подрабатывал массажистом в турецких банях. И даже подумывал о том, чтобы открыть собственное дело.

Что же касается меня, я бесцельно шатался по улицам, одинокий и потерянный.

Как-то утром, когда я оказался вдали от дома, меня застал врасплох босяк Дахо. В руках у него была зеленоватая, отвратительная змея. Он загнал меня в угол и стал размахивать у меня перед носом пастью рептилии, вращая своими кровожадными глазами. Вида змей я не переносил и до смерти их боялся. Дахо потешался вволю, моя паника его веселила. Он обзывал меня мокрой тряпкой, девчонкой... Я готов был вот-вот хлопнуться в обморок, но вдруг появился Уари, будто с неба свалился. Дахо тут же прекратил свою мелкую пытку и был готов задать стрекача, если бы мой друг пришел на помощь. Но Уари этого не сделал, он лишь на мгновение задержал на нас взор и пошел дальше, будто ничего не произошло. Я не мог прийти в себя от изумления. Дахо, успокоившись, вновь принялся пугать меня своей змеей, неестественно громко хохоча. Но даже если бы он в тот момент подошел со смеху, мне было бы все равно. На смену страху пришла тоска: у меня больше не было друга.

Глава 4

Деревянная Нога дремал за прилавком, надвинув на лицо тюрбан. Свой грубый протез он держал под рукой, готовый схватить его при малейшей попытке какого-нибудь сорвиголовы оказаться в опасной близости от его сахарных голов. Унижение, которому его подверг Эль Моро, превратилось лишь в смутное воспоминание. Долгие годы пребывания в рядах конников арабской кавалерии научили его снисхождению. На мой взгляд, стерпев за свою жизнь великое множество унтер-офицерских насмешек, противопоставляя им безропотное смирение, этот человек в чрезмерном рвении темных личностей из Женан-Жато усматривал что-то вроде злоупотребления властью. Для него жизнь состояла из взлетов и падений, моментов доблести и периодов кротости, и в его глазах важно было лишь одно – подняться после разгрома и сохранить достоинство, когда тебя бьют... И если после «позорного фиаско» перед Эль Моро над ним никто не насмеялся, то это лишь доказывало, что ни одна живая душа не смогла бы вступить в конфронтацию с подобным человеком, не потеряв частичку души. Эль Моро был ходячей смертью, живым воплощением расстрельной команды. Столкнуться с ним и выйти из сражения с обципанными перьями считалось подвигом, а остаться целым и невредимым, всего лишь немного испачкав штаны, и вовсе было сродни чуду.

Брадобрей заканчивал брить какого-то старика. Тот сидел в позе факира, положив руки на колени, широко раскрыв рот и выставив напоказ гнилой пенек. Скрежет бритвы по коже, казалось, доставлял ему несравненное удовольствие. Брадобрей сетовал на свои огорчения, но старик его не слушал и упивался счастьем каждый раз, когда лезвие вновь скользило по его гладкой как бильярдный шар голове.

– Ну вот, – воскликнул цирюльник, закончив свой рассказ, – теперь твоя голова сверкает такой чистотой, что по ней даже можно прочесть, что у тебя на уме!

– Ты уверен, что ничего не забыл? – спросил старик. – А то мысли у меня как в тумане.

– Какие мысли, старый ворчун? Ни в жизнь не поверю, что ты порой еще можешь думать, так что даже не старайся.

– Я, может быть, и старик, но из ума не выжил, предупреждаю тебя. Посмотри хорошо, там еще осталась пара волосков, которые не дают мне покоя.

– Ничего там не осталось, уж поверь мне. Голова гладкая, как яйцо.

– Ну пожалуйста, – гнул свое старик, – присмотришь повнимательнее.

Брадобрей был не дурак. Он знал, что старик пытался растянуть наслаждение. Он любовался своей работой, тщательно проверил, не осталось ли волосков в складках кожи на затылке старика, отложил в сторону бритву и заявил клиенту, что сеанс релаксации закончен.

– А теперь брысь отсюда, дядюшка Жабори. Проваливай. И возвращайся к своим козам.

– Ну пожалуйста...

– Хватит мурлыкать, говорю тебе. У меня других дел полно.

Старик скрепя сердце встал, посмотрелся в осколок зеркала и стал копаться в карманах.

– Боюсь, опять забыл деньги дома, – произнес он, притворяясь раздосадованным.

Брадобрей улыбнулся – он видел, что все к тому и шло.

– Так оно и есть, дядюшка Жабори.

– Клянусь, я был уверен, что положил их утром в карман. Наверное, потерял по дороге.

– Не страшно, – безропотно сказал брадобрей, – мне за тебя Бог заплатит.

– Даже не думай, – лицемерно взвизгнул старик, – я вот сейчас же пойду и найду их!

– Как трогательно. Смотри только сам не потеряйся, пока будешь их искать.

Старик обмотал вокруг головы тюрбан и поспешно скрылся из виду.

Цирюльник скептически посмотрел ему вслед, присел на корточки и прислонился спиной к ящику с патронами.

– Все та же старая история. Что они себе думают? Что я ищачу ради удовольствия? – проворчал он. – Это мой хлеб, черт бы их всех побрал! И что я сегодня вечером буду есть?

Он говорил в надежде, что Деревянная Нога откликнется на его слова.

Но бакалейщик не обращал на него никакого внимания.

Ожидание брадобрея затянулось на несколько долгих минут, но со стороны конника арабской кавалерии не последовало никакой реакции. Тогда цирюльник глубоко вздохнул, уставился на плывшее в небе облако и запел:

Мне не хватает твоих глаз.
Я слепну,
Когда ты смотришь в другую сторону,
И каждый день умираю,
Когда не нахожу тебя среди живых.
Как мне жить этой любовью,
Когда все в этом мире
Говорит, что тебя нет?
Зачем мне руки,
Если твое тело не трепещет в них,
Как биение божьего сердца...

– А ты ими подтирайся! – бросил ему Деревянная Нога.

На брадобрея будто выплеснули ушат холодной воды. От грубой выходки лавочника его затошнило, магия мгновения моментально испарилась, очарования песни как не бывало. Я тоже огорчился – ощущение было такое, будто во сне довелось забраться на гору, а потом меня разбудили и сбросили с нее вниз.

Брадобрей решил не обращать на бакалейщика внимания. Он медленно покачал головой и вновь прочистил горло, чтобы возобновить свою песню, но душа из нее ушла, и голосовые связки отказались ему подчиняться.

– Как же ты мне осточертел!

– От твоих идиотских напевов у меня уши в трубочку сворачиваются, – проворчал Деревянная Нога, лениво ерзая на стуле.

– Да ты хоть посмотри по сторонам! – запротестовал брадобрей. – Ведь вокруг нас ничего нет. Человек хандрит, сходит с ума от скуки и умирает. Лачуги, в которых мы живем, пожирают нас без остатка, мы не можем дышать от зловония, а рожи наши напрочь разучились улыбаться. Если при всем этом у нас еще и отнять возможность петь, то что тогда нам останется, чтоб тебе неладно было?

Деревянная Нога ткнул большим пальцем в несколько мотков пеньковой веревки, висевших на крючке у него над головой.

– Вот что тебе останется. Выбирай любой, привязывай к суку дерева, суй голову в петлю и резко подгибай под себя ноги. В результате на тебя снизойдет вечный покой, и никакая мерзость больше никогда не потревожит твой сон.

– Послушай, может, ты подашь пример, ведь тебе эта жизнь надоела до чертиков, больше, чем остальным?

– Я не могу. У меня протез, а он не сгибается.

Цирюльник сдался, скрючился на своем ящике и прикрыл ладонями лицо, бормоча что-то себе под нос... Он знал, что его песни – пустое занятие. Никакой лесной нимфы у него и в помине не было. Он сам придумал ее в перерывах между любовными вздохами, прекрасно осознавая, что ему не заслужить подобную любовь. Осколок зеркала наглядно демонстрировал всю несуразность его внешности, а заодно и абсурдность надежд. Он был маленького росточка,

тщедушен, чуть ли не горбат и беден, как Иов. У него не было ни крыши над головой, ни семьи, ни шансов хоть на йоту улучшить свою собачью жизнь. Поэтому он, чтобы зацепиться хоть за что-то в этом мире, который без конца от него ускользал, воспевал собственную мечту, бредовую и скрываемую ото всех мечту, в которой невозможно никому признаться из страха выставить себя на посмешище, мечту, которую он, забившись в угол, грыз как кость – пахучую, но начисто лишённую плоти.

Я смотрел на него, и у меня разрывалось сердце.

– Эй, малыш, иди сюда! – крикнул мне Деревянная Нога, отвинчивая крышку банки с леденцами.

Затем протянул мне конфетку, велел сесть рядом и долго меня рассматривал.

– Дай-ка я получше присмотрюсь к твоей рожице, сынок, – сказал он, приподнимая кончиком пальца мой подбородок. – Хм! Я бы сказал, что Боженька испытывал особое вдохновение, когда лепил тебя, мой мальчик. Нет, правда. Какой талант!.. Откуда у тебя голубые глаза? Твоя мать что, француженка?

– Нет.

– Может, тогда бабушка?

– Нет.

Его шершавая рука взъерошила мне волосы и медленно соскользнула на щеку.

– Мордашка, малыш, у тебя и правда ангельская.

– Оставь мальчишку в покое, – пригрозил ему Блисс, внезапно вынырнув из-за угла.

Старый конник резко отдернул руку.

– Я не сделал ничего плохого, – процедил он сквозь зубы.

– Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду, – сказал Блисс. – Предупреждаю тебя: с его отцом шутки плохи. Он тебе и вторую ногу выдернет, да так, что ты даже не заметишь, а мне очень не понравится, если на *моей* улице будет болтаться безногий. Это, говорят, дурная примета.

– Да что ты такое говоришь, славный мой Блисс?

– Кому-нибудь другому баки забивай, старый развратник. Почему бы тебе, вместо того чтобы покрываться плесенью в этой своей дыре, пуская слюни при виде малолетних мальчишек, не отправиться в Испанию? Ты же ведь так любишь ходить врукопашную, а в этой стране опять штормит и пушечное мясо им ой как требуется.

– Он бы отправился туда, да не может, – вставил слово брадобрей, – у него деревянная нога, а она не гнется.

– А ты, таракан, вообще заткнись, – бросил Деревянная Нога в попытке сохранить лицо, – иначе я заставлю тебя одним махом проглотить все твои дрянные, грязные бритвы.

– Сначала догони меня. Да и потом, я не таракан. Я не живу в сточной канаве, да и усиков у меня на голове тоже нет.

Комиссионер Блисс жестом велел мне убираться.

Не успел я встать, как в узком переулке показался отец. Я тут же бросился ему навстречу. На этот раз он вернулся раньше обычного. По его сияющему лицу и свертку, зажатому под мышкой, я понял, что он чем-то обрадован. Отец спросил, откуда у меня леденец, и тут же повернулся к лавочнику, чтобы за него заплатить. Деревянная Нога стал отказываться от денег под тем предлогом, что это лишь конфетка и он подарил ее от чистого сердца, но у отца на этот счет было другое мнение, и он настаивал до тех пор, пока лавочник не взял что ему причиталось.

Затем мы вернулись домой.

Отец у нас на глазах развернул большой коричневый пакет и вручил каждому подарок: матери – платок, моей маленькой сестренке – платье, а мне – пару новых, сверкающих каучуковых ботинок.

– Ты с ума сошел! – сказала мать.

– Почему?

– Это же огромные деньги! Деньги, в которых ты так нуждаешься, разве нет?

– Это только начало, – в порыве воодушевления заявил отец. – Обещаю вам, в скором будущем мы отсюда переедем. Я работаю с утра до вечера и сумел кое-чего добиться. Дела мои идут в гору, так почему же мне этим не воспользоваться? В четверг я встречаюсь с одним торговцем. У него свой магазин, он парень серьезный и знает толк в делах. Он хочет взять меня к себе в компаньоны.

– Иса, прошу тебя, не говори о своих планах. Раньше тебе никогда не везло.

– Но послушай, я же не все тебе рассказываю. Это будет сногшибательный сюрприз. За то, чтобы взять меня к себе, будущий компаньон запросил определенную сумму, и сумма эта... *у меня есть!*

– Умоляю тебя, больше ни слова, – испугалась мать и сплюнула через левое плечо, дабы отвести злую силу. – Не будем молоть языками, пусть все идет своим чередом. «Дурной глаз» не прощает болтовни.

Отец умолк, но это не помешало его глазам гореть ликованием, которого я до этого никогда у него не наблюдал. Той ночью он решил отпраздновать свое примирение с судьбой, забил петуха у торговца домашней птицей, оципал его на площади, выпотрошил и только тогда принес домой на дне корзины. Ужинали мы поздно вечером и втихаря, из уважения к обитателям патио, которым нередко доводилось перебиваться с хлеба на воду.

Отец ликовал. Даже стайка мальчишек, в самый разгар карнавала вдруг обретшая свободу, не радовалась бы больше его. Загибая пальцы, он считал дни. Еще пять; еще четыре; еще три...

Он по-прежнему ходил на работу, но возвращался раньше. Чтобы увидеть, как я бегу ему навстречу... И расстраивался, когда я засыпал до его прихода. Ему хотелось, чтобы я каждый раз его дожидался; это вселяло в него уверенность, что я отчетливо понимаю: ветер меняется, тучи над нами рассеиваются, мой отец крепок, как дуб, и способен единственно силой рук свернуть горы...

И вот долгожданный четверг настал.

Бывают дни, отвергаемые самими временами года. Их остерегается и злой рок, и даже демоны. Святые покровители молчат и не подают признаков жизни, а люди, предоставленные самим себе, бесследно исчезают. Тот четверг был именно таким. Отец понял это еще на рассвете. День с самого утра наложил на его лицо свой отпечаток. Я не забуду его до конца жизни. Погода была жуткая, мерзкая, грозная: безнадежно свинцовое небо то проливалось дождем, то сверкало сполохами молний, обещавших вечное проклятие, отливающие медью облака будто с цепи сорвались.

– Не идти же тебе в такую погоду, – сказала мать.

Отец стоял на пороге нашего жилища, не сводя глаз с мрачных, синюшных кровоподтеков, дурным предзнаменованием устилавших небо. И спрашивал себя, не отложить ли встречу на другой день. Но удача нерешительных не любит. Он знал это и полагал, что изводившие его предчувствия – от лукавого, стремившегося свратить его с пути истинного. Вдруг он повернулся ко мне и велел идти с ним. Вероятно, решил, что мое присутствие сможет умягчить судьбу и смягчить ее подлые удары.

Я надел гандуру с капюшоном, каучуковые ботинки и бросился за ним.

Добравшись до назначенного места, мы промокли до нитки. Ноги хлюпали в воде, набравшейся в ботинки, капюшон давил на плечи железным ошейником. Улица будто вымерла. Помимо перевернутой повозки на тротуаре, на ней не было ни души... или почти ни души. Там стоял Эль Моро; он напоминал хищную птицу, караулившую человеческую судьбу. Завидев нас, он тут же выпрыгнул из своего укрытия. Глаза его напоминали стволы охотничьего ружья,

в глубине их таилась смерть. Отец не ожидал встретить его здесь. Разводить церемонии Эль Моро не стал; он нанес удар головой в грудь, наподдал ногой и саданул кулаком. Отцу, захваченному врасплох, понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. Он дрался храбро и отвечал ударом на удар, решив дорого продать свою шкуру. Но Эль Моро был искусный боец, его обманные маневры и увертки матерого бандита сломали храброе сопротивление отца, молчаливого и неприметного крестьянина, не привыкшего к уличным дракам. Эль Моро поставил подножку, и отец упал как подкошенный. Бандит набросился на него, не давая ни малейшего шанса встать. Он продолжал осыпать его ударами с явным намерением добить. Я окаменел. Все происходило как в кошмаре. Я хотел кричать, прийти на помощь отцу, но ни один мускул тела не ответил на этот призыв. Кровь отца смешивалась с дождевой водой и устремлялась в канаву. Эль Моро до этого не было никакого дела. Он знал, чего добивался. Когда отец сдался, хищник присел перед жертвой на корточки и приподнял подол гандуры; когда он обнаружил спрятанный под мышкой кошелек, набитый деньгами, лицо его озарилось, как ночь от грозового разряда. Ударом ножа он перерезал ремешки, удерживавшие кошелек на плече отца, удовлетворенно взвесил его на руке и исчез, не удостоив меня даже взглядом.

Отец долго лежал на земле. На лице его живого места не осталось, задранный подол гандуры выставлял напоказ его голый живот. Я ничего не мог для него сделать. Будто оказался на другой планете. И даже не помню, как мы вернулись домой.

– Меня предали! – сыпал проклятиями отец. – Этот шакал пришел не случайно. Он ждал именно меня. И знал, что у меня с собой будут деньги. Знал... Знал... Нет, это не случайно; этот мерзавец точно пришел ради меня.

Затем умолк.

И долго не произносил ни слова.

Я видел, как плавают свечи, как под проливным дождем оседают комья земли. Точно такое же зрелище представлял и отец. Он ничего не ел, не пил и неумолимо, по маленькому кусочку в день, таял, забившись в свой угол. Молча, уткнувшись подбородком в колени и сцепив на затылке пальцы, он без конца возвращался мыслями к своей горечи и досаде. Он прекрасно отдавал себе отчет – что бы он ни сделал, что бы ни сказал, последнее слово всегда останется за злодейкой судьбой, изменить которую были не в состоянии ни клятвенные заверения, ни самые благочестивые обеты.

Как-то вечером на улице разорался пьяница, решивший излить свой гнев. Его похабная брань влетела в патио бешеным вихрем, будто зловонный могильный ветер; яростный голос, наполненный злобой и презрением, обзывал мужчин собаками, женщин свиньями и обещал всяким трусам и подлецам черные дни. В нем было что-то властное и тираническое, он прекрасно осознавал свою безнаказанность и от этого становился еще гаже. Этот голос народ помельче узнал бы даже среди самого адского грохота: он принадлежал Эль Моро! Заслышав его, отец так резко вскинул голову, что с силой ударился затылком о стену. На несколько секунд он окаменел. Затем, будто вынырнувшее в сумерках привидение, встал, зажег керосиновую лампу, покопался в груде белья, наваленной в углу, извлек на свет божий старую, потертую кожаную сумку и открыл ее. Глаза его в тусклых отблесках горели. Он затаил дыхание, подумал и решительно сунул руку в сумку. Блеснуло лезвие мясницкого ножа. Он поднялся, надел гандуру и спрятал холодное оружие в капюшон. Я увидел, что в углу зашевелилась мать. Она поняла, что муж потерял рассудок, но не осмелилась его образумить. Подобные истории женщин не касались. Отец вышел и растворился во мраке. Я услышал, как его шаги затихли во дворе, будто пробивавшаяся сквозь порывы ветра молитва. Дверь патио скрипнула и закрылась; и наступила тишина... тишина бездонная, державшая меня в перекрестье своего прицела до самого утра.

Вернулся отец на рассвете. Украдкой. Снял с себя гандуру, бросил ее куда попало, сунул нож обратно в сумку и направился в угол, из которого не вылезал с того проклятого четверга. Затем скрючился и затих.

Новость по кварталу Женан-Жато распространилась с быстротой молнии. Блосс был на седьмом небе от счастья. Он переходил от двери к двери и кричал: «Эль Моро мертв, вам больше не надо его бояться, добрые люди! Свирипому Эль Моро пришел конец, кто-то ударил его кинжалом в грудь, и сердце его лопнуло, как пузырь».

###

Два дня спустя отец отвел меня в аптеку к дяде. Он лихорадочно дрожал, глаза его покраснели, всклокоченная борода торчала в разные стороны.

Дядя не вышел из-за прилавка и не подошел к нам. Наше раннее появление, в час, когда лавочники только-только поднимают ставни своих витрин, в его глазах не предвещало ничего хорошего. Он думал, что отец пришел загладить былую обиду, и почувствовал в душе величайшее облегчение, услышав, как тот тусклым голосом сказал:

– Ты был прав, Махи. Рядом со мной у моего сына нет будущего.

Дядя застыл с разинутым ртом.

Отец присел передо мной на корточки. Его пальцы больно впились мне в плечи. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал:

– Я делаю это ради твоего блага, мой мальчик. Я не бросаю тебя и не отрекаюсь, просто хочу дать тебе шанс.

Он поцеловал меня в голову, что обычно является уделом почтенных стариков, попытался улыбнуться, не смог, встал и резко, почти бегом, вышел из аптеки – наверняка чтобы не показать слез.

Глава 5

Дядя жил в европейской части города, в конце асфальтированной улицы, по бокам которой выселись респектабельные, кокетливые, мирные дома с коваными решетчатыми оградами и ставнями на окнах. Аккуратно подрезанные фикусы украшали чистенькие тротуары. Кое-где стояли скамейки, на которых сидели старики, созерцавшие бег времени. В скверах резвились ребяташки. На них не было лохмотьев, в которых ходила ребятня из Женан-Жато, а на милых личиках напрочь отсутствовала печать дурных предназначений. Они будто полной грудью вдыхали жизнь, получая от этого истинное удовольствие. Во всем квартале царила невообразимая тишина, слышны были лишь детский визг да щебетание птиц.

Дом дяди был двухэтажный, с небольшим палисадником и короткой боковой аллейкой. Низкая стена, служившая оградой, заросла бугенвиллеей, усеянной фиолетовыми цветами, будто парившими в пустоте. Над верандой змеилась виноградная лоза.

– Летом здесь повсюду висят гроздья винограда. Тебе будет достаточно лишь встать на цыпочки, чтобы их сорвать.

Его глаза горели тысячей огней. Он был на седьмом небе от счастья.

– Тебе здесь понравится, мой мальчик.

Дверь нам открыла рыжеволосая женщина лет сорока. Она была красива, на круглом лице выделялись глаза цвета морской волны. Увидев меня на крыльце, она молитвенно сложила руки, поднесла их к груди и на несколько мгновений зачарованно застыла, не в состоянии вымолвить ни слова. Затем бросила вопрошающий взгляд на дядю и, когда тот кивнул, испытала в груди неопишное облегчение.

– Боже мой! Как же он красив! – воскликнула она, приседая на корточки, чтобы внимательнее меня разглядеть.

Ее руки схватили меня так быстро, что я чуть не упал. Дюжая женщина с резкими, почти даже мужскими жестами. Она с силой прижала меня к груди, и я почувствовал, как бьется ее сердце. От нее исходил приятный запах лавандового поля, а слезы, застывшие в уголках глаз, еще больше подчеркивали их зеленый цвет.

– Дорогая Жермена, – дрожащим голосом молвил дядя, – представляю тебе Юнеса, еще вчера моего племянника, а сегодня *нашего* сына.

Я почувствовал, что женщина задрожала с головы до ног; слеза, от волнения поблескивавшая на ресницах, быстро скатилась по ее щеке.

– Жонас, – сказала она, стараясь не расплакаться, – Жонас, если бы ты только знал, как я счастлива!

– Разговаривай с ним на арабском. Он не ходил в школу.

– Не страшно. Мы это исправим.

Она, все еще дрожа, встала, взяла меня за руку и ввела в гостиную, показавшуюся мне даже больше конюшни и обставленную чудесной мебелью. Ее заливал дневной свет, струившийся через огромную балконную дверь, обрамленную шторами, которая вела на веранду, где возле столика на одной ножке распахивали гостеприимные объятия два кресла-качалки.

– Это твой новый дом, Жонас, – сказала мне Жермена.

Дядя шел сзади – улыбка до ушей, под мышкой зажат пакет.

– Я купил ему кое-какую одежду. Остальное докупишь завтра.

– Вот и славно, я этим займусь. Твои клиенты, должно быть, уже заждались.

– Ты что, хочешь меня спровадить, чтобы я вам не мешал?

Жермена вновь присела на корточки, чтобы мной полюбоваться.

– Думаю, мы прекрасно поладим, правда, Жонас? – сказала она мне по-арабски.

Дядя положил пакет с одеждой на комод и удобно устроился на диване, положив руки на колени и сбив на затылок феску.

– Ты что, собрался остаться здесь и за нами шпионить? – спросила Жермена. – Иди работать.

– Об этом не может быть и речи, дражайшая моя половина. Сегодня я объявляю выходной, ведь у меня в доме появился ребенок.

– Ты не шутишь?

– Я никогда в жизни не был так серьезен, как сейчас.

– Ну хорошо, – уступила Жермена, – сейчас мы с Жонасом будем принимать ванну.

– Меня зовут Юнес, – напомнил я ей.

Она наградила меня умильной улыбкой, погладила по щеке и шепнула на ушко:

– Теперь уже нет, славный мой... – После чего обратилась к дяде: – Раз ты здесь, сделай что-нибудь полезное, согрей воды.

Она ввела меня в небольшую комнату с чугунным котлом, открыла кран и, пока наполнялась ванна, стала меня раздевать.

– Для начала мы избавимся от этих обносков, да, Жонас?

Я не знал, что сказать, и лишь следил взглядом за ее пальцами, бегавшими по моему телу, снимавшими феску, гандуру, линялую майку и каучуковые ботинки.

Чувство было такое, будто она срывает с меня листья.

Пришел дядя, в руке у него было железное ведро, над которым поднимался пар. Он скромно остался стоять в коридоре. Жермена помогла мне залезть в ванну, намылила с головы до ног, несколько раз вымыла, натерла пахучим лосьоном, вытерла большим полотенцем и пошла за моей одеждой. Обрядив во все новое, она поставила меня перед большим зеркалом. Я стал совершенно другим человеком. На мне был костюмчик, состоявший из матроски с большим отложным воротником, застегивавшейся спереди на четыре большие медные пуговицы, коротких штанишек с карманами по бокам и берета, точно такого же, какой носил Уари.

Когда я вернулся в гостиную, дядя встал, чтобы меня поприветствовать. Он был так счастлив, что меня это даже беспокоило.

– Ну разве он не чудо, этот наш босоногий принц? – воскликнул дядя.

– Прекрати, а то слгазишь... Кстати, насчет босых ног, ты забыл купить ему обувь.

Дядя хлопнул себя ладонью по лбу:

– И то правда, и где была моя голова?

– В облаках витала, конечно.

Дядя поспешно вышел и через некоторое время вернулся; в руках у него были три пары башмаков разных размеров. Мне подошли самые маленькие туфли – на шнурках, черные и мягкие, немного натиравшие пятки, но восхитительно охватывавшие ноги. Две другие пары дядя возвращать не стал, а оставил на вырост...

Они не отходили ни на минуту и кружили вокруг меня, как две бабочки вокруг лампы, показывая дом, огромные комнаты которого с высокими потолками могли бы вместить всех, кто снимал жилье у маклера Блисса. Тяжелые, спадавшие складками шторы обрамляли окна с безупречно чистыми стеклами и выкрашенными зеленой краской ставнями. Это было красивое, залитое солнцем жилище, в котором поначалу даже можно было заблудиться из-за обилия коридоров, потайных дверей, винтовых лестниц и стенных шкафов, на первых порах казавшихся мне жилыми комнатами. Я думал об отце, о нашей лачуге на отнятой земле, о крысиной дыре в Женан-Жато; пропасть, отделявшая меня от всего этого, казалась столь глубокой, что у меня кружилась голова.

Каждый раз, когда я поднимал на Жермену глаза, она мне улыбалась. Она уже начала меня баловать. Дядя не знал, с какой стороны ко мне подойти, но отказывался оставить меня даже на минуту. Они показывали мне все подряд, смеялись по самым пустячным поводам, а

порой брались за руки и просто на меня смотрели. И пока я изумленно открывал для себя достижения цивилизации, в глазах их от умиления стояли слезы. Вечером мы ужинали в гостиной. Здесь я познакомился еще с одной диковинкой: дяде, чтобы зажечь свет, не требовалась керосинка, достаточно было лишь нажать на выключатель, и на потолке вспыхивала гроздь электрических лампочек. За столом я чувствовал себя крайне неловко. Раньше мы всегда ели из одной тарелки, и теперь, когда передо мной поставили отдельную, мне было не по себе. Я почти не притронулся к еде, постоянно чувствуя на себе взгляды, не упускавшие ни одного моего жеста, и ощущая прикосновение рук, то гладивших по голове, то трепавших по щеке.

– Не торопи его, – без конца повторяла Жермена дяде, – ему нужно время, чтобы привыкнуть к новой обстановке.

Дядя в течение нескольких секунд себя сдерживал, затем воодушевлялся вновь и вновь, насколько неумело, настолько и восторженно.

После ужина мы поднялись на второй этаж.

– Это твоя комната, Жонас, – объявила Жермена.

Моя комната... Она располагалась в глубине коридора и была вдвое больше той, где в Женан-Жато мы жили всей семьей. Посередине, под охраной двух приставленных вплотную низеньких столиков, стояла большая кровать. На стенах висели картины; одни живописали сказочные пейзажи, другие – персонажей с золотистыми нимбами вокруг головы, которые молились, сложив на груди руки. На подставке над камином восседала бронзовая статуэтка мальчика с крыльями, а над ней – распятие. Чуть дальше, в компании с мягким стулом, стоял небольшой письменный стол. В комнате витал какой-то непривычный запах, чуть сладковатый и неуловимый. Через окно можно было видеть деревья на улице и крыши домов напротив.

– Нравится?

Я ничего не ответил. Неприкрытое великолепие этой комнаты меня пугало. Все предметы в ней были выстроены будто в одну шеренгу, царивший вокруг спартанский порядок настолько гармонировал даже в мельчайших деталях, что я боялся сделать неверный шаг и опрокинуть что-нибудь на пол.

Жермена попросила дядю оставить нас одних. Затем подождала, когда он выйдет, разделала меня и уложила в постель, будто я не мог сделать этого без нее. Голова тут же утонула в подушках.

– Приятных сновидений, мой мальчик.

Она накрыла меня одеялом, запечатлела на лбу бесконечно долгий поцелуй, выключила лампу на прикроватном столике, на цыпочках вышла и осторожно закрыла за собой дверь.

Темнота меня не пугала. Я всегда был мальчик одинокий, никогда не обладал слишком богатым воображением и засыпал быстро. Но в этой гнетущей комнате меня охватило непостижимое чувство тревоги. Мне не хватало родителей. Хотя живот сводило совсем не оттого, что их не было рядом. В воздухе витало нечто странное, невидимое и тягостное, природу чего мне никак не удавалось определить. Может, голова кружилась от запаха простыней или от ароматов, пропитавших собой весь этот дом? А может, всему виной было уханье, напоминавшее собой вздохи запыхавшегося человека, порой доносившееся из камина? Я был совершенно уверен, что в комнате есть кто-то еще, что кто-то под покровом темноты тайком за мной наблюдает. Моего лица будто коснулась ледяная рука, волосы на голове встали дыбом, дыхание преклось. На улице полная луна заливала серебром окрестности. В решетках ограды завывал ветер, порывы которого клонили деревья. Я зажмурился и с силой вцепился в простыни. Ледяная рука никуда не делась. Присутствие постороннего ощущалось все явственнее. Я чувствовал, что он стоит в изножье кровати, в любую минуту готовый на меня наброситься. Сердце у меня чуть не разрывалось. Я открыл глаза и вдруг увидел статую, медленно вращающуюся на камине. Она не сводила с меня незрячих глаз, губы ее застыли в печальной улыбке... Я в ужасе спрыгнул с кровати и спрятался за спинкой. Статуя крылатого мальчика вывернула

шею, чтобы устремить на меня взгляд, и ее чудовищная тень закрыла собой всю стену. Я нырнул под кровать, завернулся в простыню, капитулировал, сделался совсем маленьким и вновь закрыл глаза, уверенный в том, что, если опять их открою, мне в лицо будет смотреть та же рукокрылая статуя.

Мне было настолько страшно, что даже не знаю, уснул я или потерял сознание.

– Махи!

От этого крика я подпрыгнул и ударился головой о пружины матраса.

– Жонаса в комнате нет! – вопила Жермена.

– Как это нет в комнате? – вспыхнул дядя.

Я слышал, как они забегали по коридору, стали хлопать дверьми и носиться по лестницам.

– Из дома он не выходил. Входная дверь заперта на ключ, – сказал дядя. – Балконная дверь, ведущая на веранду, тоже закрыта. А в туалете ты смотрела?

– Я только что оттуда, там его нет, – паниковала Жермена.

– А ты уверена, что он не в комнате?..

– Говорю же тебе, его в постели нет...

Они бросились на первый этаж, стали двигать мебель, затем вновь поднялись по лестнице и вернулись в мою комнату.

– Боже мой, Жонас! – закричала Жермена, увидев меня сидящим на краешке кровати. – Где ты был?

Весь правый бок у меня онемел, суставы болели. Дядя наклонился, чтобы рассмотреть небольшую шишку, надувавшуюся у меня на лбу.

– Ты что, упал с кровати?

Я онемевшей рукой показал на статуэтку и сказал:

– Она крутилась всю ночь.

Жермена тут же принялась надо мной кудахтать:

– Жонас, ангелочек мой, что же ты меня не позвал? Ты же весь бледный. Я на тебя в обиде.

Следующим вечером в моей комнате не было ни статуи крылатого мальчика, ни распятия, ни икон. Жермена уселась рядом с моей кроватью, стала рассказывать разные истории, перемежая арабские и французские слова, и гладила меня по волосам до тех пор, пока я не унесся в царство снов.

Прошло несколько недель. Я очень скучал по родителям. Жермена не жалела сил, чтобы сделать мою жизнь радостной и приятной. Утром, отправляясь за покупками, она брала меня с собой, водила по магазинам, и домой я теперь не возвращался без конфеты или игрушки в руках. После обеда она учила меня читать и писать. Ей не терпелось записать меня в школу, но дядя не хотел торопить события. Время от времени он водил меня к себе в аптеку, усаживал за небольшой письменный стол в подсобном помещении, давал задание писать в тетради буквы и шел заниматься своими клиентами. Жермена считала, что я схватываю все на лету, и не понимала, почему дядя не желает доверить мое обучение настоящим учителям. Через два месяца я уже мог читать слова, почти не спотыкаясь на слогах. Дядя не уступал; он и слышать не хотел о том, чтобы отдать меня в школу до тех пор, пока у него не будет полной уверенности, что отец не передумает и не заберет меня обратно.

Как-то вечером, когда я бесцельно слонялся по коридорам дома, он позвал меня к себе в кабинет, аскетичного вида комнату с единственным, скупо освещавшим ее окошком. Вдоль стен тянулись полки с книгами в твердых переплетах. Книги были везде – на этажерках, комодах, на столе. Дядя сидел на стуле, склонившись над увесистым фолиантом; на носу ровной линией красовались очки. Он посадил меня на колени и показал на портрет какой-то дамы, висевший на стене.

– Тебе нужно кое-что знать, малыш. Ты не с дерева в яму свалился... Видишь эту даму на фотографии? Один генерал называл ее Жанной д'Арк. Она была вдова, насколько богатая, настолько и властная. Звали ее Лалла Фатна, ее владения были обширны, как целая страна. На равнинах паслись стада ее скота, и вся окрестная знать ела из ее рук. За ней ухаживали даже французские офицеры. Говорят, что, если бы с ней познакомился эмир Абд эль-Кадер, это могло бы изменить ход истории... Посмотри на нее хорошенько, мой мальчик. Эта дама, эта легендарная личность, – твоя прабабушка.

Лалла Фатна была прекрасна. Гордо подняв голову, раскинувшись на подушках в шитом золотом и драгоценными камнями кафтане, она, казалось, держала в своей власти не только мужчин, но и их грезы.

Дядя перешел к другому портрету, изображавшему трех облаченных в пышные бурнусы мужчин с грубыми лицами в обрамлении ухоженных бород. Взоры их были настолько решительны, что чуть не выпрыгивали из рамы.

– Посередине мой отец, иными словами, твой дедушка. Рядом его братья. Справа – Сиди Аббас. Он уехал в Сирию и больше не вернулся. Слева – Абдельмумен, человек блестящий и просвещенный. Он обладал такой потрясающей эрудицией, что вполне мог бы стать светочем науки в Улемасе, но, к сожалению, слишком быстро поддался соблазнам. Он сдружился с европейскими торговцами, забросил землю и скот, стал сорить деньгами в домах свиданий. Его нашли мертвым в глухом переулке, кто-то вонзил ему в спину кинжал.

Мы повернулись к третьему портрету, размерам превосходящему два предыдущих.

– На этой фотографии твой дедушка, он в центре, и пятеро его сыновей. От первого брака у него были три дочери, но он никогда нам о них не говорил. Справа от него – мой старший брат, Каддур. Он не ладил с отцом, уехал в столицу, решив заняться там политикой, и за это был лишен наследства... Слева – Хасан; жил на широкую ногу, якишался с девицами легкого поведения, осыпая их драгоценностями, и заключал за спиной семьи сомнительные сделки, поглотившие значительную часть наших ферм и табунов. Когда твоего дедушку вызвали в суд, ему не оставалось ничего иного, как развести руками и признать нанесенный ущерб. От этого удара он так и не оправился. Рядом с Хасаном Абдесамад; он был на редкость трудолюбив, но хлопнул дверью после того, как отец запретил ему жениться на кузине, семья которой путалась с французами. Стал солдатом и погиб где-то в Европе под конец Первой мировой войны... Два мальчугана, которые сидят у ног твоего дедушки, – это твой отец Иса, самый младший из нас, и я, старше его на два года. Как мы друг друга любили... Потом я тяжело заболел, и меня не могли вылечить ни доктора, ни знахари. Тогда мне было столько же, сколько сейчас тебе. Дедушка пребывал в отчаянии. Когда кто-то посоветовал отдать меня на попечение монахиням, он наотрез отказался. Но поскольку я угасал на глазах, он и сам не заметил, как оказался у ворот монастыря...

Дядя показал мне фотографию, на которой стояли несколько монахинь:

– Вот они, мои спасительницы. Мое выздоровление затянулось на несколько лет, по прошествии которых я успешно сдал выпускные экзамены. Твой дедушка, разоренный эпидемиями и залогами, согласился заплатить за то, чтобы я выучился на фармацевта. Он, наверное, понял, что с книгами у меня будет больше шансов преуспеть в жизни, чем с заемщиками. Потом я встретил Жермену, на химическом факультете, где она занималась биологией, и дедушка, до этого намеревавшийся женить меня на какой-нибудь кузине или дочери одного из своих друзей, не воспротивился нашему союзу. Когда я получил диплом, он спросил, чем я намереваюсь заняться. Я сказал, что хочу обосноваться в городе и открыть собственную аптеку. Он согласился, не выдвигая никаких условий. Вот так я и купил этот дом и аптеку... Дедушка никогда не приезжал ко мне в город. Даже когда я женился на Жермене. Нет, он от меня не отсекся, просто хотел дать мне шанс, как и твой отец, отдавая тебя мне на попечение... Твой папа человек мужественный, честный и трудолюбивый. Он пытался спасти то, что было воз-

можно, но в одиночку ему было не справиться. Это не его вина. Просто он стал последним колесом в повозке, которая и без того разваливалась на ходу. Он и сейчас думает, что вдвоем мы могли бы спасти положение, только судьба распорядилась иначе.

Он взял меня за подбородок большим и указательным пальцами и заглянул прямо в глаза:

– Ты, мой мальчик, наверняка спрашиваешь себя, для чего я тебе все это рассказываю.

Отвечу – чтобы ты знал о своих корнях. В твоих жилах течет кровь Лаллы Фатны. Ты можешь преуспеть там, где твой отец потерпел поражение, и вновь подняться на самую вершину холма, с которого судьба сбросила тебя вниз.

С этими словами он поцеловал меня в лоб.

– А теперь пойдем к Жермене, она уже заскучала без тебя в гостиной.

Я спрыгнул с его коленей и побежал к двери, но вдруг остановился. Дядя нахмурился:

– В чем дело, малыш?

Я, в свою очередь, посмотрел ему в глаза и поинтересовался:

– А когда ты поведешь меня повидаться с сестренкой?

Он улыбнулся:

– Послезавтра, обещаю тебе.

Дядя вернулся домой раньше обычного. Мы с Жерменной были на веранде, она читала в кресле-качалке, а я пытался отыскать черепаху, которую накануне видел в траве в саду. Жермена положила книгу на столик и нахмурилась – дядя, против обыкновения, не подошел к ней и не поцеловал. Она несколько минут подождала, но дядя все не появлялся. Тогда Жермена встала и пошла к нему сама.

Дядя сидел на стуле на кухне, уперев локти в стол и обхватив руками голову. Жермена поняла, что случилось что-то серьезное. Я увидел, как она села напротив и взяла его за руки.

– Проблемы с клиентами?

– Почему у меня должны быть с ними проблемы? – взорвался дядя. – Ведь это не я выписываю им лекарства, которые они должны принимать...

– Ты же весь на нервах.

– Это нормально, я был в Женан-Жато.

Жермена подпрыгнула на месте.

– Но ведь ты должен пойти туда с малышом только завтра?

– Я ходил предварительно разведать обстановку.

Жермена принесла графин и налила мужу стакан воды, который тот осушил одним махом.

Увидев, что я стою посреди гостиной, она показала на потолок и сказала:

– Жонас, подожди меня в своей комнате. Нам с тобой нужно будет повторить пройденное.

Я сделал вид, будто поднимаюсь по лестнице, на мгновение замер, затем спустился на несколько ступенек и прислушался. Название Женан-Жато заинтриговало меня, и я решил узнать, что же скрывается за дядиным огорчением. Может, с моими родными приключилась беда? Может, отца уличили в убийстве Эль Моро и арестовали?

– Рассказывай, – тихо попросила Жермена.

– Что тебе рассказывать? – устало ответил дядя.

– Ты виделся с братом?

– Его дела плохи, выглядит хуже некуда.

– Ты дал ему денег?

– Куда там! Когда я сунул руку в карман, он вскинулся, будто я собирался достать оружие. «Я не продавал тебе ребенка, – молвил он, – а отдал его тебе на попечение». Я даже не могу тебе передать, как это меня потрясло. Иса катится вниз. Глядя на него, я начинаю опасаться худшего.

– Что ты имеешь в виду?

– Все проще простого. Если бы ты только видела его глаза! Он похож на зомби.

– А Жонас, ты поведешь его завтра повидаться с матерью?

– Нет.

– Но ты же обещал.

– А теперь передумал. Он только-только стал выбираться из этой клоаки, и я не хочу, чтобы он в нее вернулся.

– Махи...

– Не упорствуй. Я знаю, что не должен этого делать. Отныне наш мальчик будет смотреть только вперед. Позади у него одна лишь скорбь и уныние.

Я услышал, как Жермена нервно заерзала на стуле.

– Ты слишком рано опустил руки, Махи. Брат в тебе нуждается.

– Думаешь, я не пытался? Иса настоящий детонатор, стоит его чуть-чуть задеть – и он тут же взрывается. Он не оставляет мне ни единого шанса. И если я протяну ему руку, он отхватит ее до самого плеча. В его глазах все, исходящее от других, не что иное, как милостыня.

– Ты не другие, ты его брат.

– Полагаешь, он этого не знает?.. В его бедовой голове это одно и то же. Мой брат не желает признавать, что скатился ниже некуда, и именно в этом заключается его проблема. Теперь, когда от него осталась лишь тень, все яркое и сияющее его обжигает. Да и потом, он на меня обижен. Ты даже представить себе не можешь, до какой степени. Он считает, что, если бы я не уехал, вместе мы могли бы спасти нашу землю. И сегодня уверен в этом куда больше, чем раньше. Я не сомневаюсь, что подобные мысли стали для него навязчивой идеей.

– Но ведь он чувствует себя виноватым из-за тебя...

– Возможно, однако для него это превратилось в манию. Я его знаю. Он молчит, но беспрестанно копит в душе злобу на меня. И презирает. В его глазах я продал душу дьяволу, отрекся от семьи, женился на женщине не нашей веры, сбыв по дешевке нашу землю, чтобы купить в городе дом, сменил гандуру на европейский костюм. И даже если до сих пор у меня на голове феска, он упрекает меня в том, что я выбросил на помойку свой тюрбан. Мне с ним никогда не найти общего языка.

– Надо было тайком дать несколько купюр его жене.

– Она бы не взяла, ей прекрасно известно, что Иса ее за это убьет.

Я поспешно поднялся к себе в комнату и запер дверь.

На следующий день, в полдень, дядя опустил на окне аптеки железные жалюзи и пришел за мной. Может, еще раз все обдумал на ясную голову, может, его убедила Жермена. Как бы там ни было, ему хотелось внести в ситуацию полную ясность. Он устал жить в постоянной тревоге, видя, как отец с каждым днем сдает все больше и больше. Неуверенность мешала его счастью, он строил на мой счет планы, но вероятность того, что ситуация в любой момент может измениться, не давала ему покоя. Отец вполне был способен нагрянуть без предупреждения, взять меня за руку и увести с собой, не снизойдя до объяснений.

Дядя повел меня в Женан-Жато. Трущобы показались мне еще отвратительнее, чем раньше. Здесь время будто остановилось. Люди не знали, чего хотят и что им делать. Те же коричневые от загара лица обводили тусклым взором окрестности, в полумраке давал представления все тот же театр теней. Завидев нас, Деревянная Нога резким жестом сдернул с макушки черепа тюрбан. Брадобрей чуть не отрезал ухо старику, которого в этот момент брил. Мальчишки побросали все свои дела, выстроились вдоль дороги и стали на нас пялиться. Лохмотья на их исхудалых телах кричали во весь голос.

Дядя старался игнорировать окружающую нищету; он шел прямо, высоко подняв голову и бесстрастно глядя перед собой.

Вместо того чтобы зайти в патио, он предпочел подождать меня на улице.

– Не торопись, мой мальчик, время у тебя есть.

Я бросился во двор. У колодца дрались два отпрыска Бадры, руки их сплелись в остревенелой борьбе. Младший цепко держал старшего за шею и пытался вывернуть ему локоть. В углу, рядом с отхожим местом, стирала белье Хадда, склонившись над выдолбленным в стволе дерева тазом. Подоткнутое до середины бедер платье открывало ласковым лучам солнца красивые обнаженные ноги. Она стояла ко мне спиной, и борцовский поединок, который с редкой жестокостью вели между собой соседские мальчишки, ее, казалось, совсем не смущал.

Я приподнял занавес на двери нашей конуры и подождал несколько секунд, чтобы глаза привыкли к царившему в комнате мраку. Мать лежала на лежанке, тело ее было накрыто одеялом, голова повязана платком.

– Это ты, Юнес? – простонала она.

Я опрометью бросился к ней. Ее руки обвили меня и прижали к груди. Их хватка была вялой. Мать полыхала в лихорадке.

Она мягко меня оттолкнула, вес моего тела мешал ей дышать.

– Почему ты вернулся? – спросила она.

Сестра сидела у столика. Она была так молчалива и безлика, что поначалу я ее даже не заметил. Она смотрела своими большими, пустыми глазами и спрашивала себя, где могла видеть меня раньше. Я не жил с ними всего несколько месяцев, но она уже успела меня забыть. Сестра по-прежнему не говорила. Она не походила на других детей ее возраста и будто отказывалась расти.

Я вытащил из небольшой сумки купленную для нее игрушку и поставил на стол. Брать ее сестра не стала, а довольствовалась лишь тем, что скользнула по ней взглядом и снова принялась меня рассматривать. Я взял игрушку, маленькую тряпичную куклу, и вложил ей в руки. Она этого даже не заметила.

– Как ты нашел наше патио? – спросила мама.

– На улице ждет дядя.

Мама пронзительно вскрикнула и села на постели. Ее руки опять меня обвили и прижали к груди.

– Я так рада тебя видеть. И как тебе у них живется?

– Жермена очень добра ко мне. Каждый день меня моет и покупает все, что я захочу. У меня полно игрушек, банок с вареньем и обуви... Знаешь, мам, у них большой дом. В нем много комнат и места хватило бы на всех. Почему вы не хотите переехать и жить с нами?

Мама улыбнулась, и все страдания, искажавшие черты ее лица, улетучились, будто по волшебству. Она была красива, ее черные волосы доходили до бедер, глаза были большие, как блюдца. Когда мы еще жили на своей земле, она, обозревая с вершины холма поля, часто казалась мне султаншей. В ней были и грация, и стать, когда же она сбегала с бугорка, нищета, стаей собак вцепившаяся в край ее платья, была не в состоянии ее догнать.

– Нет, правда, – настаивал я, – почему бы вам не переехать? Тогда мы могли бы жить все вместе в доме дяди.

– У взрослых, малыш, так не бывает, – сказала она, вытирая мою щеку. – Да и потом, отец никогда не согласится жить в чужом доме. Он хочет самостоятельно подняться на ноги, чтобы не быть ни у кого в долгу... А ты выглядишь хорошо, – добавила она. – Похоже, что вырос... И как же ты красив в этой одежде! Как маленький христианин.

– Жермена зовет меня Жонасом.

– А кто это?

– Дядина жена.

– Не страшно. Французам тяжело произносить наши имена. Она это делает не специально.

– Я научился читать и писать...

Ее пальцы взъерошили мои волосы.

– Вот и хорошо. Отец никогда бы не отдал тебя на попечение дяде, если бы не знал, что тот даст тебе то, чего сам он дать не способен.

– А где он?

– Работает. Без усталости... Вот увидишь, наступит день, когда он придет за тобой и отведет в дом своей мечты... Ты знаешь, что родился в красивом доме? Лачуга, в которой ты вырос, раньше принадлежала семье крестьян, работавших у отца. Поначалу мы были почти богачами. Нашу свадьбу праздновала вся деревня. Целую неделю все пировали и пели песни. У нас был крепкий, окруженный садом дом. Три твоих старших брата родились как настоящие принцы. Но выжить им было не суждено. Потом на свет появился ты и стал играть в саду до изнеможения. А затем Бог решил, что на смену весне должна прийти зима, и наш сад зачах. Это жизнь, сынок. И то, что она дает человеку одной рукой, другой отнимает. Но нам ничто не мешает вернуть отнятое обратно. У тебя все получится. Я спрашивала у гадалки Батуль. По узорам на воде она предсказала, что ты выберешься из нищеты. И поэтому каждый раз, начиная по тебе тосковать, я обзываю себя эгоисткой и говорю: ему там хорошо. Бог его спас.

Глава 6

С мамой я пробыл недолго. А может, и целую вечность. Я уже не помню. Время в расчет не шло, значение имело что-то другое, более плотное и вещественное. Это как на свидании в тюрьме – важно лишь то, что останется в памяти после мгновений, проведенных с человеком, которого тебе так не хватает. В том возрасте я не отдавал себе отчета ни в опустошении, вызванном моим отъездом, ни в моральных увечьях, которые я нанес этим своим близким. Мама не уронила ни единой слезинки. Плакать она будет позже. Не выпуская из рук моей ладошки, она лишь говорила со мной и улыбалась. И эта ее улыбка была для меня отпущением грехов.

Мы сказали друг другу все, что хотели сказать, то есть почти ничего – ничего такого, чего бы нам не было известно.

«Здесь тебе будет плохо», – сказала она.

Поначалу эта ее мысль не привлекла моего внимания. Я был всего лишь мальчишкой, для которого слова редко представляли собой что-то большее, чем издаваемые губами звуки. Я их слышал, но совершенно над ними не задумывался... Да и потом, какая разница? Говори не говори, а я уже был далеко.

Именно мама напомнила, что на улице меня ждет дядя и что пора идти. И вечность погасла, как гаснет лампа, когда нажимаешь на кнопку выключателя, – с молниеносной быстротой, заставшей меня врасплох.

За порогом нашей комнаты патио молчало. Стих гам, смолк шум борьбы. Патио молчало... Может, оно прислушивалось к тому, что происходило за нашей дверью? Выбежав во двор, я увидел собравшихся у колодца соседок. На меня издали глядели Бадра, Марна, гадалка Батуль, красавица Хадда, Езза и вся их ребятня. Казалось, они боялись ко мне подойти, опасаясь, что тогда я рассыплюсь в прах. Бесенята Бадры затаили дыхание. Свои руки эти ребята, привыкшие совать пальцы куда надо и не надо, теперь прижимали к бокам. Чтобы совершенно сбить их с толку, мне достаточно было лишь надеть другую одежду. Даже сегодня я спрашиваю себя, не является ли в конечном счете этот мир одной сплошной видимостью. Человек с запыленным лицом, будто сделанным из папье-маше, и джутовой сумкой, болтающейся на впалом животе, – бедняк. Но стоит ему умыться, провести расческой по волосам, натянуть чистые штаны, и вот он уже стал совершенно другим. Все обуславливают мелочи. В одиннадцать лет откровения приводят человека в растерянность. Не получая ответов на свои вопросы, он удовлетворяется теми, которые его устраивают. Я был уверен, что нищета – это не злой рок, что в основе ее лежит лишь мышление. Все совершается в голове. Глаза видят, мозг соглашается, и мы думаем, что перед нами незыблемая реальность предметов и явлений. Но достаточно лишь на мгновение отвлечь внимание от неудач, как перед нами тут же открывается совершенно иной путь, новенький, будто только что отчеканенная монета, и настолько загадочный, что мы даже начинаем предаваться мечтам и сами тому удивляемся... В Женан-Жато мечтать было не принято. Обитатели квартала полагали, что их судьба предопределена заранее и свернуть с проторенного пути уже нельзя. Вынужденные жить на обочине жизни, они в конечном счете срослись телом и душой с собственной зашоренностью.

Дядя протянул мне руку, и я на бегу ее схватил. Когда его пальцы сомкнулись на моем запястье, я перестал оглядываться назад.

Я уже был далеко.

Первый год пребывания в приемной семье оставил после себя мало воспоминаний. Дядя, успокоившись, записал меня в школу, располагавшуюся в двух кварталах от нашего дома, – самое что ни на есть обычное учебное заведение с невзрачными коридорами и двумя огром-

ными платанами во дворе. Сегодня мне вспоминается, что там было темно, что солнечный свет касался лишь крыши. В отличие от учителя, сурового и желчного человека с ярко выраженным овернским акцентом, преподававшего нам французский язык, учительница наша была ласковой и терпеливой. Чуть полноватая, она носила бесцветную блузу, и, когда проходила мимо, за ней тенью тянулся аромат духов.

Арабов, кроме меня, в классе было только двое, Абделькадер и Брахим, оба сыновья сановников, обоих из школы забирали слуги.

Дядя берег меня как зеницу ока. Его добрый нрав придавал мне отваги. Время от времени он звал меня к себе в кабинет и рассказывал истории, хотя я не понимал ни их сути, ни смысла.

Оран был изумительный город. В нем присутствовала какая-то изюминка, придававшая его средиземноморской жизнерадостности толику неувядающего очарования. Что бы он ни делал, все было ему впору. Он умел жить, и даже не пытался этого скрывать. Его вечера казались волшебными. Когда спадала жара и воздух становился свежее, люди выносили на улицу стулья и долгими часами разговаривали за стаканчиком анисовки. С нашей веранды было видно, как они курят сигареты, и слышно, о чем они говорят. Их туманные вольности взлетали в черное небо падающими звездами, а раскатистый смех докатывался до наших ног, подобно волнам, лижущим ступни на берегу моря.

Жермена была счастлива. Она даже не могла поднять на меня глаз, не возблагодарив небеса молитвой. Я понимал, какое счастье доставлял ей и ее мужу, и это мне очень льстило.

Порой дядя принимал у себя приехавших издалека арабов и берберов, среди них одни были одеты на европейский манер, другие носили традиционные наряды. Все они были люди выдающиеся и влиятельные, говорили о стране под названием Алжир, но не о той, о которой нам рассказывали в школе, и не о той, что можно было увидеть в зажиточных кварталах, а о стране разграбленной, подневольной, посаженной на цепь, без конца пережевывавшей свой гнев, будто жесткое, чуть подтухшее мясо. В этом Алжире были Женаны-Жато, зияющие раны, выжженная земля, козлы отпущения и грубая рабочая скотина... И этой стране, в которой все парадоксы мира роскошествовали, как богатые рантье, оставалось лишь придать новый толчок.

Думаю, я был счастлив в доме дяди. По Женан-Жато я особо не скучал. Чуть позже подружился с жившей через дорогу девочкой. Ее звали Люсетта. Мы учились в одном классе, и ее отец разрешал ей со мной играть. Ей было девять лет, особой вежливостью она не отличалась, зато была приветлива, великодушна, и мне очень нравилось с ней бывать.

После второго года в школе для меня все пришло в норму. Мне удалось раствориться в рядах учеников. По правде говоря, эти маленькие христиане были детьми странными. Они могли заключить вас в объятия, расцеловать и тут же от себя отшвырнуть. Между собой они ладили хорошо. Порой на переменках дрались, обещая беспощадно ненавидеть друг друга до конца жизни, но стоило появиться на горизонте чужаку – как правило арабу или «бедному родственнику» из их собственного сословия, как они тут же выступали против него единым фронтом. Он становился изгоем, объектом насмешек, на него постоянно показывали пальцем, когда нужно было найти виновного. Поначалу травить меня поручили Морису, злобному великовозрастному олуху. Когда же выяснилось, что я «мокрая тряпка», не отвечающая ударом на удар и никогда не плачущая, меня оставили в покое. В то же время, когда под рукой оказывался другой козел отпущения, мое присутствие на периферии их компании не возбранялось. Я не был одним из них, и они напоминали мне об этом при каждом удобном случае. Странное дело, но стоило мне вытащить из ранца полдник, чтобы их умаслить, они в ту же минуту становились моими друзьями и пропитывались ко мне обезоруживающим уважением. Но, съев все до последней крошки, тут же отрекались от меня с такой скоростью, что от подобных пируэтов кружилась голова.

Как-то вечером я вернулся домой вне себя от гнева. Мне требовались объяснения, причем сию же минуту. Я злился на Мориса, на учителя и на весь класс. Они задели мое самолю-

бие, и впервые в жизни я осознал, что страдания могут доставлять не только члены семьи, но и другие люди, которых я раньше и в глаза не видел, но которые, после первого нанесенного ими оскорбления, становились моим окружением точно так же, как отец или мать. Инцидент произошел на уроке. Мы сдали тетради с выполненным заданием. Абделькадер смущенно потупил взор. Он уроков не сделал. Учитель схватил его за ухо и на глазах у всего класса выволок на кафедру. «Месье Абделькадер, вы не могли бы сказать нам, почему, в отличие от ваших товарищей, не сдали работу?» Уличенный в проступке ученик стоял красный как рак, понурился от стыда. «Почему, месье Абделькадер? Почему вы не выполнили задание?» Не добившись ответа, учитель обратился к классу: «Кто-нибудь может сказать, почему месье Абделькадер не сделал уроки?» Не поднимая руки, Морис тут же машинально твякнул: «Потому что арабы лентяи, месье». Вызванный его словами приступ веселья меня покорило.

Вернувшись домой, я направился прямо к дяде в кабинет:

– Арабы и в самом деле лентяи?

Агрессивность в моем голосе немало его удивила.

Он отложил в сторону книгу, которую до этого листал, и повернулся ко мне. Выражение моего лица заставило его смягчиться.

– Подойди ко мне, мой мальчик, – сказал он и вытянул руки, чтобы меня обнять.

– Нет, мне надо знать. Это правда? Арабы действительно лентяи?

Дядя взял меня за подбородок и посмотрел в лицо. Минута была ответственная, он *должен был* мне все объяснить.

Немного подумав, он сел напротив и сказал:

– Нет, мы не лентяи. Просто мы не торопимся жить. У европейцев все иначе, для них время – деньги. Для нас же время не имеет цены. Нам, чтобы быть счастливыми, достаточно лишь стакана чая, а им, сколько ни дай, все равно будут несчастны. Вот и вся разница, сынок.

С Морисом я больше не разговаривал и бояться его с того момента перестал.

Затем наступил день, который грубо заставил меня, только-только научившегося строить иллюзии, с одной из них расстаться.

Я проводил Люсетту к тете, которая зарабатывала на жизнь тем, что шила брюки в мастерской в Шупо, в двух кварталах от нашего дома, и пешком возвращался домой. Стояло октябрьское утро, небо украшало большое, как тыква, солнце. Осень сорвала с деревьев их последние обноски, и ветер, впадая в транс, отупело кружил по земле охапки палых листьев. На бульваре, где мы с Люсеттой обожали пялиться в витрины, располагался бар. Название, красовавшееся на вывеске, в памяти не отложилось, но пьяницы, захаживавшие в него, до сих пор стоят у меня перед глазами; то был шумный, вспыльчивый народ, который полиция нередко успокаивала дубинками. В тот самый момент, когда я с ним поравнялся, в заведении разразилась яростная ссора. Сначала послышалась брань, потом кто-то грохнул тарелкой, по полу проехал стул, и я увидел, как какой-то толстяк, вне себя от ярости, схватил за шиворот оборванца и швырнул его с крыльца. Несчастный приземлился у моих ног, издав такой звук, какой издает охапка соломы. Он был мертвецки пьян.

– Даже не думай болтаться поблизости, голодранец! – крикнул ему бармен, стоя на крыльце. – Здесь тебе не место.

Затем он скрылся в недрах заведения и вышел с парой башмаков в руках.

– И не забудь свою обувь, Иоха⁵ недоделанный. В ней тебе сподручнее будет бежать навстречу гибели.

⁵ Иоха – библейский персонаж, один из сыновей Берии (Первая книга Паралипоменон, 8: 16).

Бродяга втянул голову, когда башмак заехал ему по макушке. Поскольку он валялся на тротуаре, не давая мне пройти, я, не зная, переступить через него или же перейти на другую сторону улицы, застыл на месте.

Оборванец уткнулся носом в землю, вся его физиономия была в пыли, тюрбан сбился на затылок. Я видел его со спины. Его руки лихорадочно пытались за что-нибудь ухватиться, но он был слишком пьян, чтобы найти точку опоры. После нескольких конвульсивных попыток ему удалось сесть. Он нащупал башмаки, натянул их, поднял тюрбан и кое-как намотал его на голову.

От него плохо пахло, думаю, он обмочился.

Балансируя на пятой точке и опираясь одной рукой о землю, чтобы не упасть, другой он стал искать свою палку, увидел ее неподалеку от сточной канавы и пополз на четвереньках, чтобы до нее дотянуться. Вдруг он заметил меня и замер. А когда поднял на меня глаза, лицо его исказила гримаса боли.

Это был отец!

Отец... способный одними руками свернуть горы, справиться с колебаниями и сомнениями, поставив их на колени, и свернуть шею судьбе... Он лежал на тротуаре у моих ног в вонючих гетрах и с разбитой в кровь физиономией, с уголка его губ стекала слюна, синева глаз казалась такой же трагичной, как и покрывавшие лицо синяки. Жалкая развалина... опустившийся бродяга... человеческая трагедия!

Он глядел на меня с таким видом, будто видел перед собой привидение. Гноящиеся, припухшие глаза подернулись какой-то непонятной дымкой, лицо скукожилось, будто старая оберточная бумага в руках старьевщика.

– Юнес? – спросил он.

Нет, это был не крик... лишь негромкое бормотание, что-то среднее между глухим восклицанием и всхлипом.

Я стоял будто громом пораженный.

Вдруг, осознав всю серьезность ситуации, отец попытался встать. Не сводя с меня глаз, покраснев от натуги, он оперся на палку и поднялся с земли, тщательно следя за тем, чтобы с его губ не сорвалось ни единого стона. Но колени подогнулись, и он самым позорным образом рухнул в канаву. Я чувствовал себя так, будто моя мечта оказалась несбыточной, мираж рассеялся, а вчерашние обещания и самые дорогие моему сердцу клятвы унес с собой порыв сирокко. Охватившие меня страдания не поддаются описанию. Я хотел наклониться к нему, взвалить на себя и поднять. Я хотел, чтобы он протянул руку и ухватился за меня. Я хотел сделать еще тысячу самых разных вещей, проложить между нами тысячу мостов и протянуть ему тысячу соломинок, но вся моя жизнь сосредоточилась в глазах, которые отказывались верить в увиденное, поэтому ни один мускул не ответил на мой молчаливый внутренний порыв. Я слишком любил отца и поэтому даже представить не мог, чтобы он, как чучело гороховое, лежал у моих ног с черными ногтями и раздувающимися ноздрями...

Не в силах превозмочь опьянение, он прекратил свое бесполезное барахтанье и лишь обессиленно махнул рукой, попросив меня уйти.

Затем, в последнем приступе гордости, отец сделал глубокий вдох и вновь оперся на палку. Черпая силы в самых глубинах своего естества, там, где еще сохранились крохи бывшего достоинства, он подался вперед, отшатнулся назад, схватился за стену и выпрямился на подгибающихся ногах; он боролся из последних сил, надрывал все свое нутро, чтобы не упасть. Его руки с силой сжимали шаткую опору, он напоминал старую, больную лошадь, в любое мгновение готовую рухнуть на землю. Потом, все так же подпирая плечом фасад бара, отец пошел. Ноги его заплетались на каждом шагу, но он старался ступать ровнее и хоть немного отойти от стены, желая доказать мне, что может идти прямо. В его патетической борьбе с самим собой наличествовали самые мужественные и одновременно гротескные грани отчаяния. Слишком

пьяный для того, чтобы отойти далеко, через несколько метров он выдохся и обернулся, чтобы посмотреть, ушел я или нет. Я по-прежнему стоял на месте, опустив руки, в таком же хмелю, как и он сам. И тогда он бросил на меня взгляд, преследовавший меня всю жизнь, – взгляд потерянный и мертвый, взгляд, в котором может утонуть любая клятва, в том числе и та, что даже достойнейший отец дает самому любимому сыну. На своем веку такой взгляд человек может бросить только раз, потому что ни до, ни после него уже больше не будет ничего... И я понял, что он смотрит на меня в последний раз, что больше никогда не поднимет на меня глаза, которые очаровывали меня и пугали, ласкали и предупреждали, любили и умиляли.

– И давно это с ним? – спросил доктор, убирая в саквояж стетоскоп.

– Он вернулся домой в полдень, – ответила Жермена. – Выглядел вполне нормально. Затем мы сели за стол, он немного поел и побежал в туалет, его стошнило.

Врач был высокий, костлявый господин с узким, бледным лицом. В своем черном костюме он походил на марабута. Не сводя с меня глаз, он властной рукой защелкнул замки саквояжа.

– Я не понимаю, что с ним, – признался он, – жара нет, он не потеет, симптомы переохлаждения отсутствуют.

Дядя, стоявший вместе с Жерменой в изножье моей кровати, молчал. Он внимательно следил за тем, как доктор меня осматривал, время от времени бросая на него тревожные взгляды. Тот попросил меня открыть рот, посветил небольшим фонариком в глаза, провел пальцами за ушами, послушал дыхание. Затем встал, лицо его выражало настороженность.

– Я выпишу ему противорвотное. Сегодня пусть остается в постели. Обычно это быстро проходит. Скорее всего, съел что-нибудь, чего его организм не принял. Если не поправится, дайте мне знать.

Когда врач ушел, Жермена села у моей кровати. В глазах ее плескалось беспокойство.

– Ты ел что-нибудь на улице?

– Нет.

– У тебя болит живот?

– Нет.

– Что же тогда с тобой случилось?

Что со мной, я не знал. Ощущение было такое, что я разваливаюсь на мелкие кусочки. Стоило поднять голову, как она тут же начинала бешено кружиться. Внутренности будто сводило судорогой, душа словно впала в спячку...

Проснулся я ночью. Уличная суতোлка стихла. Комнату заливал свет полной луны, слабый ветерок развлекался тем, что дергал за косички дерева. Время, видимо, было позднее. Соседи обычно ложились, только сосчитав на небе все звезды. Во рту ощущался привкус желчи, горло горело. Я отбросил одеяло и встал. Ноги дрожали. Я подошел к окну, буквально прилип лицом к стеклу и стал ждать, когда промелькнет какой-нибудь силуэт. В каждом полуночнике мне хотелось видеть отца.

Вот таким, насквозь продрогшим и с лицом, обрамленным запотевшим пятном на стекле, меня и застала Жермена. Она тут же уложила меня обратно в постель. Что она мне говорила, я не слышал. Порой на ее лицо наплывал лик матери, затем их затмевали собой черты отца, и в животе тут же начинались сильнейшие спазмы.

Сколько я проболел, мне неизвестно. А когда опять пошел в школу, Люсетта призналась, что я изменился и теперь был уже не такой, как раньше. Во мне будто что-то сломалось.

В аптеку к дяде явился комиссионер Блосс. Стоило ему прокашляться, как я его тут же узнал. Такой манеры прочищать горло не было больше ни у кого на свете. Когда он пришел, я как раз делал уроки в подсобке. Служебное помещение от торгового зала отделяла дверь, заве-

шенная занавесом, поэтому я мог наблюдать за ним в щелку. Промокший до нитки, он переступил порог; на нем был старый, латаный бурнус, немного ему великоватый, серые, забрызганные грязью шаровары и каучуковые сандалии, оставлявшие на полу грязные следы.

Дядя перестал сверять счета и поднял голову. Визит маклера не предвещал ничего хорошего. В европейские кварталы Блосс забредал нечасто. По его взгляду загнанного в угол зверя дядя понял, что к нам пришла беда.

– Я тебя слушаю...

Блосс сунул руку под феску и яростно почесал темечко, в его исполнении это означало большое затруднение.

– Я пришел поговорить о твоём брате, доктор.

Дядя резко захлопнул инвентарную книгу и повернулся ко мне. Он прекрасно знал, что я за ними подглядываю. Затем вышел из-за прилавка, взял Блосса под локоток и отвел его в угол. Я слез с табурета и подошел к занавесу, чтобы послушать.

– Что с ним?

– Он пропал...

– Что?.. Как это – пропал?

– Ну как, ушел из дому и не вернулся.

– Давно.

– Уже три недели.

– Три недели? И ты только сегодня решил мне об этом сообщить?

– Это все его жена. Ты же знаешь, какими становятся наши женщины в отсутствие мужей.

Они же ни в жизнь не обратятся к соседям, даже если в доме будет пожар. Сам я узнал об этом сегодня утром от гадалки Батуль. Жена твоего брата вчера обращалась к ней за советом. Она попросила погадать по руке и сказать, что случилось с ее мужем, и только после этого рассказала Батуль, что твой брат вот уже три недели не подает никаких признаков жизни.

– Боже мой!

Я поспешно вернулся и сел за стол.

Дядя отодвинул занавес, увидел, что я, склонившись над тетрадь, заучиваю наизусть текст, и сказал:

– Ступай к Жермене и скажи ей, чтобы она подменила меня в аптеке. Мне срочно нужно уйти.

Я схватил тетрадь и выбежал на улицу. По пути мне захотелось прочесть хоть что-нибудь во взгляде Блосса, но он отвел глаза, и я как сумасшедший побежал по улицам.

Жермена не находила себе места. Отпустив очередного клиента, она вставала у занавеса и смотрела на меня. Мое спокойствие ее тревожило. Время от времени она, не в состоянии сдержаться, подходила ко мне на цыпочках, склонялась и смотрела, как я учу наизусть урок. Сначала она гладила меня по голове, потом прикладывала ладонь ко лбу, чтобы определить, нет ли у меня жара.

– Ты уверен, что все в порядке?

Я ничего ей не отвечал.

Последний взгляд, который отец бросил на меня в тот день, пошатываясь от стыда и выпитого вина, грыз меня не хуже прожорливого червя.

Давно опустилась ночь, но дядя все не шел. На улице, пустынной под проливным дождем, упала лошадь, опрокинув повозку, в которую ее запрягли. Уголь рассыпался по мостовой, и возчик, проклиная и животное, и мерзкую погоду, тщетно пытался найти решение своей проблемы.

Через оконное стекло мы с Жерменой смотрели на лежавшую на земле лошадь. Она подогнула под себя передние ноги и неестественно вывернула шею. В потоках дождевой воды ее грива разметалась по мостовой.

Возчик отправился за подмогой и вернулся с группкой добровольцев, бросивших вызов молниям и дождю.

Один из них присел на корточки рядом с животным.

– Сдохла твоя кляча, – сказал он по-арабски.

– Да нет, просто поскользнулась и упала.

– Говорю тебе, что она околела.

Возчик отказывался в это верить. Он тоже присел рядом, не осмеливаясь протянуть к лошади руку.

– Но это невозможно. С ней было все в порядке.

– Животные не умеют жаловаться, – ответил его собеседник, – ты, парень, должно быть, слишком усердно хлестал ее кнутом.

Жермена схватила ручку и наполовину опустила железный ставень аптеки. Затем дала мне свой зонтик, выключила в торговом зале свет и вытолкала меня на улицу. После чего заперла дверь на висячий замок, взяла зонтик обратно, прижала меня к себе, и мы поспешили домой.

Дядя вернулся только поздно ночью. С него ручьями стекала дождевая вода. Пальто и туфли Жермена сняла с него еще в прихожей.

– Почему он не в постели? – проворчал дядя, поведя в мою сторону подбородком.

Жермена пожалала плечами и быстро взбежала по лестнице на второй этаж. Дядя внимательно смотрел на меня. Его мокрые волосы в свете люстры поблескивали, однако взгляд был мрачен.

– Тебе бы надо сейчас лежать в кровати и спать. Завтра в школу, ты не забыл?

Жермена вернулась с домашним халатом, который дядя тут же надел. Затем сунул ноги в домашние туфли и подошел ко мне.

– Мальчик мой, сделай одолжение, поднимись к себе в комнату.

– Ему все известно об отце, – сказала Жермена.

– Я знаю. Как и то, что он узнал обо всем раньше тебя. Но это все равно ничего не меняет.

– Как бы там ни было, он не сомкнет глаз до тех пор, пока ты все ему не расскажешь.

Это же его отец!

Дяде слова Жермены не понравились, и он грозно нахмурился. Но она была встревожена, считала, что скрывать от меня правду нет никакого смысла, и поэтому стояла на своем.

Дядя положил руки мне на плечи.

– Мы искали повсюду, – сказал он. – Его никто не видел. Мы обошли все места, где твой отец имел обыкновение бывать, но в последнее время он там не появлялся. Твоя мать не знает, где он. И не понимает, почему он ушел... Мы будем искать дальше. Я поручил маклеру и трем верным людям прочесать весь город, но найти его следы...

– А я знаю, где он, – в ответ произнес я. – Он уехал сколотить состояние и вернется на красивой машине.

Дядя глазами спросил Жермену, не заговариваюсь ли я. Она успокоила его, слегка опустив веки.

Поднявшись в комнату, я лег в постель, уставился в потолок и стал представлять себе, как отец, не жалея сил, зарабатывает огромные деньги, словно в тех фильмах, на которые по воскресеньям во второй половине дня меня водил отец Люсетты. Несколько раз ко мне заходила Жермена, чтобы убедиться, что я сплю. Я делал вид, будто вижу седьмой сон. Она суе-тилась у моей постели, щупала украдкой лоб и уходила, укрыв теплым одеялом. Когда дверь

за ней закрывалась, я отбрасывал его, устремлял взор на потолок и, подобно сорванцу, зачарованному каким-то необычным видением, следил, будто на экране, за похождениями отца.

Блисс и трое верных людей дяди, которых он снарядил на поиски отца, вернулись ни с чем. Они обошли все: полицейские участки, больницы, дома свиданий, свалки и базары; опросили могильщиков, попрошайек, пьяниц и барышников... Отец будто испарился.

Через несколько недель после его исчезновения я, не сказав никому ни слова, отправился в Женан-Жато. Я уже изучил город, и мне хотелось навестить родных, не спрашивая разрешения у Жермены, и без дяди. Мать меня строго отчитала. Моя инициатива показалась ей глупой, и она вырвала у меня обещание больше так не делать. Предместья кишели головорезами всех мастей, и хорошо одетого мальчика могли порвать на куски громилы, орудовавшие в этом разбойничьем притоне. Я сказал, что пришел узнать, не вернулся ли отец. Мама ответила, что за отца не надо беспокоиться, по словам гадалки Батуль, у него все отлично, и он вот-вот сколотит состояние.

– Когда он вернется, сначала заберет тебя у дяди и только потом придет за мной и твоей сестренкой, чтобы отвести нас *всех вместе* в большой дом, окруженный садом с бесчисленными фруктовыми деревьями.

С этими словами она послала старшего сына Бадры к маклеру Блисссу, чтобы тот незамедлительно отвел меня к дяде.

Столь резкое отношение со стороны матери долго не давало мне покоя.

Я считал себя источником всех бед на земле.

Глава 7

В течение нескольких последующих месяцев я закрывал глаза, лишь тщательно обследовал потолок. Из одного конца в другой. И вдоль, и вширь. Лежа на спине и откинувшись головой на подушки, я прокручивал в голове злключения отца, рассказ о которых в виде бесвязного фильма разворачивался над кроватью. Я представлял его то в образе величественного набоба, окруженного толпой придворных, то разбойника, разоряющего дальние страны, то золотоискателя, ударом кирки извлекающего на свет божий самородок века, то подтянутым гангстером в безупречном костюме-тройке и с толстой сигарой в углу рта. Порой, в приступе непостижимой тревоги, я видел, как он, пьяный и расхристанный, бежит по предместьям, обладающим дурной репутацией, а за ним гонятся мальчишки, желающие его линчевать. В такие ночи руку мою будто сдавливало клещами – точно такими же, какие впились в мою плоть в тот вечер, когда я хотел осчастливить отца, отдав ему деньги, заработанные продажей щелгов.

Исчезновение отца стало для меня костью в горле, которую нельзя было ни проглотить, ни выплюнуть. В том, что он пропал, я винил себя. Отец никогда не осмелился бы бросить маму и сестренку прозябать в нужде, если бы в тот день не встретил меня. С наступлением ночи он вернулся бы в Женан-Жато и мертвецки уснул, не возбуждая подозрений у соседей. У него были свои принципы, он никогда ни с кем не делился и тщательно все ото всех скрывал. Он говорил, что человек может потерять деньги, землю, друзей, от него может отвернуться удача, он может растеряться, но все равно у него останется шанс, пусть даже мизерный, вновь встать на ноги где-то в другом месте. Но вот если он потеряет лицо, то пытаться спасти остальное уже не имеет смысла.

В тот день отец потерял лицо. Из-за меня. Я застал его в тот момент, когда он скатился на самое дно поглотившей его пропасти. Вынести этого он не смог. Не позволить превратностям судьбы затмить его образ было для него делом чести, и он изощрялся, чтобы мне это доказать... Но взор, устремленный на меня у бара в Шупо, когда он нелепо пытался удержаться на ногах, рассудил иначе... Порой взгляд человека может многое рассказать о его бедах и отчаянии; у отца он был безапелляционный.

Я злился, что свернул на ту улицу, что прошел мимо этого бара в тот самый момент, когда вышибала швырнул на землю и моего отца, и весь мой мир. Я злился, что слишком рано расстался с Люсеттой, что чуть дольше обычного пялился в витрины...

Лежа в темной комнате, я изводил себя, пытаюсь найти смягчающие обстоятельства и не находя их. Я был так несчастен, что как-то вечером принялся искать в захлавленном чулане статую ангела, который в первую ночь нагнал на меня такого страха. Он лежал на самом дне ящика, набитого всяким старьем, я смахнул с него пыль и вновь поставил на камин напротив кровати. А потом долго не спускал с него глаз, уверенный, что он вот-вот расправит крылья и повернет в мою сторону голову... Но ничего такого не произошло. Ангел неподвижно стоял на своем постаменте, непроницаемый и отчаянно бесполезный, и мне пришлось еще до рассвета сунуть его обратно в разваливающийся ящик.

###

– Бог злой!..

– Бог здесь ни при чем, мой мальчик, – возразил дядя. – Твой отец ушел, и на том все, точка. Его к этому не принуждал лукавый, да и архангел Гавриил тоже не взял за руку и не повел за собой. Он цеплялся за жизнь, но все же сдался. Нет ничего проще. Жизнь состоит из взлетов и падений, и середины здесь быть не может. Не надо думать, что горести и несчастья выпадают только нам и больше никому. Судьба, нанося удар, никогда не замышляет его зара-

нее. Он, как молния, обрушивается на нас и, как молния, тут же исчезает, не обращая внимания на порожденные им трагедии и даже о них не подозревая. Хочешь плакать – плачь, хочешь надеяться – молись, но прошу тебя, не ищи виновных в сферах, где сути твоих страданий нет и в помине.

Я плакал и молился; но времена года сменяли друг друга, экран над моей головой погас, а потолок вновь стал однотонным и невыразительным. Воскрешать вереницу этих призраков больше было ни к чему. Я вновь брал Люсетту за руку, и мы шли в школу. Меня окружали легионы ребят, как и я, не сделавших ничего плохого. Это были всего лишь мальчишки, погрязшие в бедах и невзгодах и пытавшиеся, в меру сил и возможностей, либо справиться с ними, либо приспособиться. И если они не задавали себе слишком много вопросов, то только потому, что ответы на них не обещали ничего хорошего.

Дядя по-прежнему принимал у себя таинственных гостей. Они приезжали поодиночке поздно ночью, запирались в гостиной и проводили там долгие часы, дымя, как заводские трубы. Ядовитым запахом их сигарет пропитался весь дом. Их тайные собрания начинались и заканчивались всегда одинаково – поначалу приглушенные голоса, затем задумчивая тишина, а потом взрыв, грозивший разбудить всех соседей. Я слышал, как дядя, на правах хозяина, не раз утихомиривал своих гостей. Когда устранить разногласия и найти почву для взаимопонимания не удавалось, все выходило подышать в сад, и темноту яростно испарывали огоньки сигарет. По окончании встречи они по одному на цыпочках выходили из дома и растворялись в ночи, внимательно вглядываясь во мрак.

На следующий день я неизменно заставал дядю в кабинете – он долго что-то писал в толстой конторской книге с картонным переплетом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.